

ВАСИЛІЙ КРАСНОВЪ.

ХОДЫННА

(Рассказъ на до смерти растоптаннаго).



Посвящается Андрею Андреевичу Евдокимову.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОЮЗ“
Харьковскаго Кредитнаго Союза Кооперативовъ
1919.

Цена 2 руб.



Вышли из печати и поступили в продажу:

- Історія Слободської України.**
308 стор. 271 малюнок і 7 карт мапами
Ц. 7 руб. проф. *І. І. Білодід.*
Короткий нарис української мови.
Ц. 1р 25к. *О. Н. Симельський.*
Шкільні фінанси.
Ц. 2р 50к. *А. П. Маркоєв.*
Начери розв'язку української літературної мови.
Ц. 1 руб. проф. *М. Ф. Сумцов.*
Древнійша цивілізація в Європі
(Критско-Микенська культура).
Ц. 2р. 50к. проф. *В. Бузескуль.*
Хрестоматія по українській літературі. Ч. 1.
Ц. 3р 25к. проф. *М. Ф. Сумцов.*
Шкільне диво у древніх греків
(по новим даним).
Ц. 1р 10к. проф. *В. Бузескуль.*
Азбука для вчителів.
Ц. 1р. *Грицько Іванович Николаєв.*
Народний Домъ, его задачи и обществен. значеніе.
проф. *В. Я. Данилевский.*
Ц. 6р 50к. и *А. Богомоловъ.*
Природа и население Слободной Украины. Харьковск. губ.
проф. *В. И. Талієв,*
пр-р А. С. Федоровский,
Д. К. Петяєв, Н. Г. Алеричъ и
Ц. 10р. *И. В. Емгальновъ.*
Птицы — друзья человека.
Ц. 3р 25к. *Г. А. Брыляничъ.*
Кредит и его роль в народномъ хозяйствѣ.
проф. *М. Н. Соболевъ.*
Ц. 2р. 35к.
Ян треба бореться з землею.
Ц. 25к. *С. Пархоменко.*
Состояніе в развитіе русского сельскаго хозяйства.
проф. *А. Н. Телишевъ.*
Ц. 5р. 50к.
Кооперация в Галиччѣ.
Ц. 6р. 50к. *М. Хопяковичъ.*
Одновидіе рідну природу.
Ц. 1 руб. *Е. Шарлеманъ.*
- Бумажные деньги.**
Ц. 10р. *І. А. Трахтенбергъ.*
Важные писати (початкова наука письма). *О. Симельський.*
Задачникъ по кредитной кооперации. *Сокольский.*
Кооперативный кредитъ и кооперативные банкі.
(пособіе для коопер. школъ и курс) проф. *А. Н. Анциферовъ.*
Жизнь сельско-хозяйственныхъ животныхъ.
Ц. 4р. *А. В. Паладина.*
Товаровѣдѣніе. *Н. Аласенъ.*
Ключи Грамоты
начальная грамматика по новому правописанію. *Н. П. Дашевский.*
Шкільна збірка українських народних пісень для початкових шкіль.
С. П. Дремковъ.
- Слабожане**
(історично етнографічна розвідка).
Ц. 10р. проф. *М. Сумцовъ.*
Казерь вѣ толонѣ.
Ц. 1р 40к. *С. П. Булжимский.*
Успѣхи сръскаго хозяйства
Ц. 5р. 50к. *С. П. Булжимский.*
Букварь по новому правописанію.
Н. П. Дашевский.

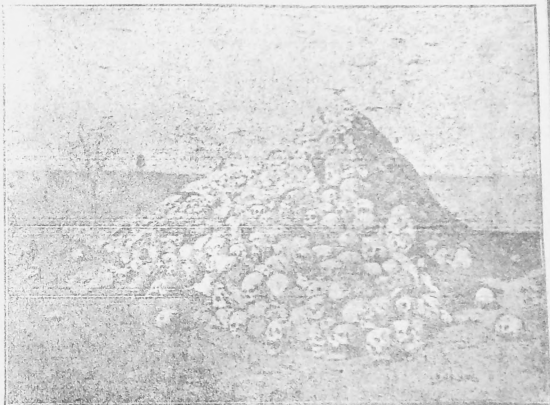
ПЕЧАТАЮТСЯ:

- „Искусства“ (его психологія, его стилистика, его эволюція), проф. *О. И. Шмитъ.*
„Рідний Край“, укр. хрестоматія, *П. Г. Богалевский.*
„Ясне Сонечко“ укр. букварь, *П. Г. Ковалевский.*
Начальное руководство по украинско-великорусской—русской исторіи для народныхъ школъ, проф. *А. Я. Ефименко.*
Что такое національные пария и для чего они устраиваются, *Г. А. Брыляничъ и В. А. Засаровъ.*
Строеніе в жизнь растений, проф. *В. И. Талієв.*

ВАСИЛІЙ КРАСНОВЪ.

ХОДЫНКА

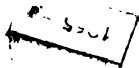
(Разсказъ не до смерти растоптаннаго).



Посвящается Андрею Андреевичу Евдокимову.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОЮЗ“
Харьковского Кредитнаго Союза Кооперативовъ
1919.



РАЗСКАЗЪ былъ напечатанъ въ журналъ „Русское Богатство“—Августъ 1910 г. Посланъ онъ былъ для печати Л. Н. Толстымъ, и по его желанію былъ мною написанъ дважды. Печатался онъ безъ всякихъ исправленій его Л. Н. Толстымъ, но съ нѣкоторыми лишь сокращеніями, сдѣланными редакціей „Русскаго Богатства“.

Теперь разсказъ печатается полностью и съ тою же самою оригинала, который былъ въ рукахъ Л. Н. Толстого,—оригиналъ послѣ напечатанія былъ возвращенъ мнѣ В. Г. Короленко.

Разсказъ вновь дополненъ подробностями лодынского происшествія, о которыхъ только теперь лишь возможно стало говорить. Изданіе разсказа и теперь считается своевременнымъ, потому что В. Г. Короленко въ своей книжкѣ „Паденіе царской власти“ вспоминаетъ о немъ.

В. К.

Харьковъ, Февраль 1919 г.

ХОДЫНКА

ВЪ МОСКВѢ стояла недѣля шумныхъ и пышныхъ празднествъ. Звонко гудѣли мѣдные колокола и носились ликующіе крики народа надъ городомъ. Улицы полны людей, дома утопали подъ флагами и гирляндами зелени. Они были протянуты и надъ улицами, со стороны на сторону, играя и колеблясь яркими пятнами красныхъ, синихъ и бѣлыхъ полотнищъ флага. Все было такъ нарядно, необыкновенно, людно и необычно напряжено гулкимъ движеніемъ.

На Тверской то и дѣло собирались толпы народа, топтались на одномъ мѣстѣ, разглядывая украшенные балконы, окна домовъ и торжественныя арки на перекресткахъ. По временамъ въ толпѣ вспыхивала какая-то суэта и движеніе и она, какъ клубокъ, то наматывалась, то разматывалась,—собиралась въ кучки и расползалась по площади и улицамъ.

Вотъ ѣдетъ роскошная коляска съ ливрейнымъ кучеромъ, адъютантами и высокой особой... Толпа сжимается въ клубокъ, кричить ура!—и бѣжитъ долго за коляской, разматывая на ниточки свой клубокъ. И это „ура“ гремѣло и взвивалось надъ улицами съ утра и до вечера!

Отъ дворца къ дворцу и отъ дворцовъ къ лагерямъ по Тверской—то и знай сновали блестяще одѣтые курьеры, кирасиры, уланы, гусары,

солдаты и офицеры, одинаково щеголеватые. Одни изъ нихъ, въ своихъ мудренныхъ мундирахъ, киверахъ и латахъ, были очень похожи на самовары, посаженные верхомъ на коней... Другіе, затянутые въ золотые пояса, увѣшанные крученными шнурами, лапчатыми мишурными эполетами, съ одинаковыми заученными движеніями,—были похожи на заводныя игрушки, нарочно сдѣланныя къ этому празднику.

И все это блестяло, переливалось на солнцѣ, играя сказочною яркой пестротой роскоши,—быстро сновало и рябило въ глазахъ, куда-то торопясь и вмѣстѣ оставаясь все въ томъ же городѣ,—на тѣхъ же самыхъ улицахъ день за днемъ...

Мелькали парадные, нарочито-торжественные иностранцы, гости и послы изъ далекихъ странъ. Привлекали взоры и вниманіе толпы черные люди съ Востока, въ диковинныхъ головныхъ уборахъ и въ яркихъ, изумительно цвѣтистыхъ одеждахъ. И казалось, что всѣ страны свѣта прислали сюда своихъ людей—въ гости и на показъ Москвѣ! И Москва жила въ эти дни впечатлѣніями необыкновенной суеты и яркой пестроты міроваго государства.

И москвичи неугомонно сновали по улицамъ, словно одержимые зудомъ любопытства, тщеславія и суеты. По устамъ толпы то и дѣло неслись трепетныя слова, собиравшія ее мигомъ въ кучи—наматывая и разматывая ее клубки.

— Нашъ Великій Князь,—у-рра-а-а!!!

— Князь Черногорскій,—у-рра-а-а!!!

— Принцъ... Венгерскій наслѣдникъ...у-рра-а!!!
Турецкій Посольъ... консулъ... у-рра-а-а!—и поми-

нотно назывались далекія страны и царства всего свѣта.

И благодарные москвичи старались всѣмъ имъ показать себя и дать послушать и запомнить свою глотку. Кидались къ коляскамъ съ картузами на отлетѣ, — а лихое, залихватское и звонкое „ура“ неслоя и навстрѣчу ко всѣмъ, и вдогонку!

Только въ Москвѣ и умѣютъ такъ суетиться, — шумѣть по-пустому и голосисто горланить — „ура“.

Коронованіе торжественно совершилось, и предстояли освященныя стариной народныя гулянья по этому случаю. Бесплатныя увеселенія и угощенія, — пиръ на весь міръ, какъ говорится въ сказкахъ... Они должны были начаться съ завтра, и вся Москва волновалась, радостно ожидая начала ихъ, и готовилась къ нимъ еще накануне. И уже всѣ съ утра устремлялись туда за городъ, на десятиверстное Ходынское поле...

Въ этотъ день Тверская улица и Страстная площадь имѣли необычайный видъ. Потоки людей безудержно неслися изъ центра за заставу, словно рѣка катилась съ горки, шумная и мутная отъ пестрой смѣси русла. Казалось, что больше нигдѣ не было ни движенія, ни жизни въ странѣ, а все перешло сюда. Эта улица, Тверская, соединяла загородній Петровскій дворецъ и Кремль, и по ней совершался въѣздъ для коронованія. По ней же нужно было итти со всей Москвы, чтобы попасть на народныя гулянья по случаю коронаціи. Тамъ готовилось что-то сказочное! Горы сластей и гостинцевъ, безконечные сараи съ бочками пива и меда, фокусы и штуки, музыка и пѣсни, — разливанное море веселья и смѣха,

а главное: все чего ни захочешь,—бери и по-лучай задаромъ...

Тысячеустая молва оповѣстила огромный го-родъ и окресть его, расписала и превознесла все это выше лѣса стоячаго,—и пошли теперь тучи людей туда за заставу, словно муравьи двига-лись къ медовой рѣкѣ съ сахарными берегами. Съ полдня наканунѣ пришлось остановить всякое движеніе по Тверской, кромѣ пѣшеходнаго.

Было что-то властное въ этомъ шествіи за городъ, устремленіи изъ домовъ и улицъ. Движе-ніе было заразительно и, какъ магнитъ, вытягивало оно за собою изъ домовъ на улицу все живое,— молодое и старое. И дома пустѣли, пустѣли и смежныя улицы, а на Тверской была давка и не-выразимый гвалтъ. Здоровались и перекликались, свистѣли и то и дѣло пытались пѣть...

И было поинтерно это царство людности надъ каменнымъ городомъ. Не замѣчалось ни каменистыхъ улицъ, ни стѣнъ и оконъ домовъ,— людская толпа заслоняла собою все. И каменный остовъ улицы терялъ свою мертвящую строгость. Наполненныя движущимся ликованіемъ улицы словно раздвинулись и переставали казаться ящи-комъ безъ крышки; гудящая толпа устилала его каменистое дно своею живою и шумною лентой.

Я смотрѣлъ на это весь день съ вышки ма-стерской фотографическаго павильона Страстной площади, и у меня дрожали поджилки отъ не-терпѣнія,—хотѣлось скорѣе убѣжать изъ мастер-ской; было мнѣ тогда лѣтъ 18. Едва кончился полдень,—не дожидаясь обѣда, я скатился по лѣстницѣ и бросился съ разбѣга въ толпу, глубоко

нырнулъ въ толщу ея, какъ томимый удушьемъ купальщикъ въ рѣку...

Ждать утра, чтобы итти къ 10 часамъ, когда назначалась раздача гостинцевъ и кружекъ „на память“, мнѣ казалось просто глупымъ. Столько народу, что ничего не останется, когда я приду завтра!— „А до другой-то коронаціи, еще Богъ знаетъ доживу-ли я“, думалось мнѣ. Остаться же безъ „памяти“ огъ такого торжества мнѣ, коренному москвичу, казалось зазорнымъ: что я за обсъвокъ въ полѣ? Кружки, говорятъ, очень красивыя и „вѣчныя“...

И такъ хорошо будетъ эту кружку поставить въ уголокъ подъ образа и пить изъ нея чай въ большіе праздники! Такъ думалъ всякій изъ насъ, простецовъ, идя на Ходынку...

Тогда еще не была такъ распространена въ обиходѣ эмалированная посуда и была въ диковинку.

Толпа плыла, заполняя все. Когда мы выходили за заставу, сильный нарядъ казаковъ заставлялъ насъ сворачивать влѣво-съ шоссе, которое вело прямо къ Петровскому дворцу. И даже пѣсни пѣть запрещалось близко отъ шоссе. А какъ только показался широкій горизонтъ Ходынки, пѣсня сама рвалася изъ души! И она вспыхивала то и дѣло въ разныхъ мѣстахъ. Гдѣ было не такъ густо, обязательно подскакивалъ казакъ и „честью“ просилъ не пѣть,—размахивая нагайкой и крупно ругаясь Публика была простая и сильно на-веселѣ, и пѣсня невольно выскакивала на просторѣ поля, какъ пробка изъ нагрѣтой бутылки, и вскорѣ пѣло все Ходынское поле! Затѣмъ и шли сюда, чтобы пошумѣть и погулять на просторѣ...

Прямо отъ Триумфальной арки ярко блестя фонарями по сторонамъ шоссеяная дорога къ дворцу. Она была такая заманчивая, прямая и широкая, нарядная отъ яркихъ пятенъ флаговъ, арокъ и гирляндъ. Камни тускло отсвѣчивали и, словно вымытые къ завтрашнему параду, привѣтливо бѣлѣли въ дали...

А влѣво, рядомъ, у шоссе, чернымъ проваломъ зяло мѣсто завтрашняго разгула. Причудливымъ зигзагомъ, убѣгая вдаль, вытянулся по нему длинный рядъ будокъ, гдѣ сложены до завтра гостинцы и подарки царя народу. Онѣ были чуть-чуть видны и привѣтливо поблескивали вдали свѣжимъ и золотистымъ тесомъ, изъ котораго только что родились, чтобы завтра же умереть... Ихъ стройный рядъ и островерхая крыша дѣлала похожими на огромную стаю птицъ, собравшуюся уснуть на перелетѣ.

Въ полѣ около мѣста гуляній было еще очень просторно и можно было бродить повсюду. Только на завтра сдѣлаемся мы званными гостями, а сегодня мы только любопытствующіе, надоѣдливые зѣваки.

Недалеко отъ Петровскаго дворца, почти напротивъ него, и находилось уготованное мѣсто увеселеній, застроенное зрѣлищами, каруселями и катками, помостами для пѣсенниковъ, фокусниковъ, гимнастовъ... Стояли высокіе, гладко выстроганые столбы, а на нихъ висѣла всякая всячина: вышитыя рубахи и бархатные штаны, пиджаки, гармошки, балалайки... Отдѣльно на полочкахъ, увѣнчивая мачты, стояли пузатые самовары, дразня и притягивая къ себѣ яркимъ блескомъ завистливые взоры. Заборовъ и загородокъ

не было, и мы ходили вокруг да около, разглядывая приманки и мысленно примѣривая и выбирая себѣ то, къ чему бы завтра слѣдовало прицѣлиться и устремиться прежде всего и раньше другихъ.

Особнякомъ стоялъ красивый театръ въ русскомъ вкусѣ. А около него прижалась игрушечная веселенькая колоколенка съ колоколами. Завтра, во время представления „Жизни за Царя“ и шествія на сценѣ, они будутъ звонить...

Все застроенное мѣсто гулянья было съ версту въ прямоугольникъ и прилегало широкой своей стороной къ самому Петербургскому шоссе, а узкой къ Всесвятской рошѣ; другая узкая сторона его обращена была къ Москвѣ и лагерямъ. Здѣсь же, вдоль шоссе, между гуляньями и лагерями, стояло множество будокъ, кучками въ линію: по пяти, десяти и двадцати сразу, а всего штукъ полтора. Расположены онѣ здѣсь были причудливо: граблями, или буквою Т... Длинная сторона этихъ граблей—будокъ шла отъ Москвы и упиралась въ середину поперечины у шоссе, вдоль котораго стояло всего только будокъ двадцать. Получалось два угла—загона для публики, чрезъ которые, гдѣ бы она ни стояла, она должна была подходить завтра за подарками...

Высота будокъ была аршинъ четырехъ до крыши, а форма ихъ пятиугольная. Острыми углами эти пятиуголки были обращены въ толпу, готовясь завтра какъ бы дробить и сверлить ее. Разстояніе между сходящимися углами будокъ снаружи аршинъ десять, а проходъ между будками внутри—аршина полтора. Все это хитрое устройство было похоже на намѣренно разстав-

лennыя воронки, которыя должны были завтра процѣдить сквозь себя миллионную толпу народа съ одной стороны на другую!

Виднѣлись будки и у Всесвятской роши и около Ваганькова кладбища, такого же устройства; говорили, что всего-то ихъ было до тысячи...

Чѣмъ ближе къ вечеру, тѣмъ тѣснѣ становилось на полѣ, труднѣе было проходить. Народу валило со всѣхъ сторонъ видимо не видимо... Проходя около мѣста гуляній и у главной, самой длинной линіи будокъ съ углами, я не разъ спотыкался и падалъ здѣсь еще засвѣтло. Мѣсто было неровное, попадались рытвины и ямы со всѣмъ у самыхъ будокъ.

Осмотрѣвъ постройки, -- утомившись отъ ходьбы и жары, я рѣшилъ пройти отдохнуть ко Всесвятской рошѣ, мимо лагерей. Да и многіе густою толпой валили туда, въ тѣнь.

Близился майскій вечеръ съ длинными сумерками и мечтательной истомой. И близость роши располагающе влекла къ себѣ на отдых... Почти что всѣ были съ припасами въ узелкахъ, изъ которыхъ то и дѣло мелькали сургучныя головки винной посудыны.

И вотъ опять у самыхъ будокъ, шагахъ въ тридцати не далѣе, мы натыкаемся на глубокой оврагъ съ крутыми обрывистыми краями, мѣстами очень широкой: сажень до сорока. Дно оврага было вдобавокъ изрыто добытчиками глины и песку, которые оставили тутъ послѣ себя множество ямъ саженей четырехъ глубины. Дожди и вешнія воды соединили эти ямы промоинами, и сосѣдство этого оврага съ мѣстами будокъ и гуляній не было ничѣмъ обезврежено.

Помню, многие шутя тутъ прыгали и лазили, вытаскивали другъ друга за руки и подсаживали на вылазку къверху, давая себѣ зарокъ на завтра быть подальше отсюда. А обходя этотъ оврагъ, ныряя по его извилинамъ, мы натыкались на искусственныя рытвины и ямы выставочной постройки... Потомъ шли по насыпямъ разобранной желѣзной дороги, когда-то соединявшей выставку съ городомъ. Долгое время шли мы еще по насыпи оврага глубиною въ сажень: то была граница городской земли и Ходынского лагеря. Отъ всѣхъ этихъ ямъ, канавъ и овраговъ до будокъ и мѣста гуляній были только сотни шаговъ.

У задней части мѣста гуляній, ближе къ Ваганькову, виднѣлись огромныя тесовыя сараи съ бочками пива и меда. Ихъ было десятка два и каждый длиною аршинъ по сорока; между ними широкіе свободные пролеты—проходы, саженой въ двадцать, ничѣмъ не огороженные. Сараи эти, огромныя и аляповатыя и безъ всякихъ украшеній, имѣли грубый видъ,—такъ и вѣяло отъ нихъ прямымъ назначеніемъ голаго разгула.

Около самой роши пошли ровненькія лужайки, и толпа, словно сговорившись, стихала и замедляла свой ходъ. Роша окружалась толпой, наполнялась звенящими дѣтскими и дѣвичьими голосами, окликами и людскимъ говоромъ. Словно несмѣтная стая грачей слеталась сюда и поднимала галдежъ! Подъ деревьями, на лужайкахъ, въ глубинѣ и на опушкѣ, располагались люди на отдыхъ и на пирушки до разсвѣта. Кто угощался своимъ изъ узелковъ, а то и купить тутъ было можно всего. Сновали всякіе закусочники, сби-

теньщики, квасники, мороженники, шпрожники... всѣ они {горланили, выкрикивая свои товары. Торговля шла бойко.

Вотъ проворно тараторить пышечникъ, за нимъ идетъ сбитеньщикъ, съ блестящимъ чайникомъ, увѣщанный стаканчиками, черствыми бубликами, калачами и торбой съ угольками... Все это болтается на веревочкахъ вокругъ шеи, гремитъ и тарыхтитъ во всю.

— Пышки! Пышки! Горячія пышки... Пышки-ребятишки! Дѣтки, та-а-шите сюда по монеткѣ!.. Пышки,-- га-а-рячія пышки,--ребятишки!

— Сбитень -- горячій, сбитень--горячій,-- скороговоркой барабанить другой и выходить у него— „горячій“, вмѣсто горячаго, и его хоромъ поправляютъ изъ толпы.

— Полно врать-то, дядя! Ничего у тебя не горитъ, а только дымить! Шагай скорѣй мимо...

— Конфеты, пряники... орѣхи для потѣхи! Орѣхи для потѣхи...—неслося дискантомъ издали.

Сновали бродячіе музыканты артелями и представляли на лужайкахъ къ большимъ компаніямъ, предлагая повеселить ихъ. Соглашались и безъ денегъ, за одно угощеніе. Особенно если видѣли, что стоитъ въ серединѣ четвертуха водки...

— Давайте въ складчину, господа!... Ваше угощеніе, а наше веселье!... Идетъ?

— Идетъ,--присаживайтесь! И наша копѣечка не щербата. Въ складчину веселѣе!

— Мы вамъ поиграемъ, а вы поволнуйтесь, да спляшите, коль ногъ не жалко...

— За-ачѣмъ ихъ жалѣть?! Чай не кулѣенныя, а свои...

И поднималась тутъ такая веселая кутерьма,

что отойти было невозможно. Пляски, пѣсни, раскатистый смѣхъ и визгъ... И такъ всюду буйной волной перекатывалось веселье вокругъ роши и подкатывалось къ полю, безпрестанно замыкаясь въ круги, и крутилось тамъ въ пляскахъ до упаду, взвивалось въ пѣсняхъ до хрипоты. Распадался кружокъ здѣсь, смолкали пѣсни на минуту, чтобы начаться рядомъ и, кто еще не усталъ, сливался съ новымъ кругомъ, плясалъ и пѣлъ... И такъ безъ конца до зари.

Было много и прїѣзжихъ изъ уѣздовъ; то и дѣло подкатывали сюда ихъ шарабаны и тарантасы, биткомъ набитые народомъ. И таборомъ располагались здѣсь же.

Многіе расположились и уснуть тутъ въ рошѣ, подъ охраной развѣсистыхъ сосенъ. Только одного и можно было опасаться здѣсь,—чтобы не смяло толпой. И деревья разбивали сплошной потокъ людской на ручейки и охраняли уставшихъ и спящихъ...

Кой-гдѣ занимались костры для чая около повозокъ. Потомъ стали зажигать ихъ просто отъ нечего дѣлать, для потѣхи. И такъ изъ сумерекъ костры вмѣстѣ съ пѣснями вошли въ ночь и жили среди народа до солнца.

Небо быстро гасло и, казалось, отходило еще дальше отъ земли и засыпало тамъ, чуждое ей. А взбудораженное поле становилось впотьмахъ буйно-веселымъ. Оно бурлило и клокотало звуками, ревомъ высокихъ нотъ неистоваго веселья. Съ каждымъ мигомъ, какъ изъ-подъ земли, являлись трепетные языки костровъ. Они разгорались и ширились, разбѣгаясь другъ отъ друга по полю. Изъ дали, отъ роши и до Москвы,—черезъ ров-

ное поле, открывалось зрѣлище костровъ и толпы вокругъ нихъ—сказочное по красотѣ, и надъ всѣмъ царилъ волшебный, неопиcуемый гулъ веселья, дробная смѣющаяся пляска звуковъ въ вечернемъ гулкомъ воздухѣ, плавалъ низкій вьющійся туманъ отъ костровъ... Казалось, что тамъ, въ дали, что-то другое дѣлается, чѣмъ у насъ, и меня потянуло туда.—обратно къ Москвѣ, въ самую гущу толпы, въ центръ. Тянуло и другихъ туда же,—хотѣлось скорѣе окунуться въ людскомъ омутѣ, послѣ передышки въ рошѣ.

Говорили, что на завтрашнія представленія привели ученыхъ слоновъ и птицъ. Что устраиваютъ бездонные фонтаны пива и вина; завтра они будутъ безпрестанно бить изъ земли для угощенія всѣхъ желающихъ, только успѣвай подставлять кружку! И много другого говорили кругомъ, — это будоражило насъ и подстегивало идти скорѣе все дальше и дальше впередъ.

И мы быстро шли. Впереди насъ творилось что то невыразимое, чудесное. Оно безпрестанно росло и ширилось и, казалось, заполняло собою все поднебесье.

Полное радостныхъ звуковъ, яркаго пляшущаго свѣта костровъ и причудливыхъ прыгающихъ тѣней,—оно дрожало и пѣло, сотрясая ликоваиємъ необъятное, казавшееся безкрайнымъ въ потьмахъ, ходынкос поле...

Вотъ мы попадаемъ въ какой-то водоворотъ, и насъ тянетъ куда-то внизъ и носить помимо нашей воли, все быстрѣе и быстрѣе. Какъ вода въ воронкѣ, мы кружимся по полю отъ краевъ къ серединѣ, волнообразными кругами. И, чѣмъ ближе къ серединѣ, тѣмъ быстрѣе и наша бѣ-

готня по кругу и короче кругъ... А середина поля радушно принимала насъ въ свои объятія и оглушала трескотней самаго безшабашнаго веселья.

Со всѣхъ сторонъ вливались въ эту шумящую и поющую середину все новыя и новыя тѣни, пѣсни и клики, и множились, разбѣгаясь, играющія точки костровъ. Съ каждой секундой росло и округлялось это ликующее море огней и пѣсень и само поглощало свои берега,—слизывая насъ, какъ песчинки морская волна, и унося въ свою глубину.

Не слыша ногъ подъ собой,—словно на крыльяхъ, несся я въ эту середину. И все болѣе и болѣе приходилъ въ восторгъ отъ развертывающейся картины предо мной. Было что-то величественное въ этомъ множествѣ поющихъ людей, веселыхъ и дѣтски безпечныхъ. Большой и мирной счастливой семьей казались всѣ эти люди, пришедшіе сюда. Цѣлыми семьями, съ малыми дѣтьми, съ сѣдыми стариками, оставляя пустыми дома свои, сошлись всѣ сюда. Крестьяне и горожане смѣшались въ одно,—слитое съ пѣсней, смѣхомъ, тѣнью и огнемъ...

Такъ же по-домашнему и попережку располагались они и здѣсь. Садились въ кружокъ у костра, перекликивались съ родственниками и знакомыми, налаживали свою пѣсню,—пускались въ плясъ передъ своей компаніей... Въ воздухѣ стонъ стоялъ отъ гармоникки. Издали, вырываясь изъ нестройнаго гомона, они казались неистово чирикающими воробьями. Плавно вздрагивали тонкіе трензеля. Не смѣшиваясь съ гармоникками, словно жаворонками заливались они

надъ темнымъ полемъ. Солидно ухали бубны, какъ будто старались разогнать воробьиный гвалтъ...

Большими и малыми кучками сидѣли люди на травѣ. У каждой кучки своя пѣсня и своя бутылка водки... Веселые и довольные сидѣли они вокругъ костра, и такой нужной, необходимой и совсѣмъ безвредной казалась здѣсь водка.

И пламя костра, будто сочувствуя общему веселью, напору звуковъ и движенія, колебалось и плясало, и куталось въ причудливыя мантии дыма, фыркало и смѣялось искрами... А подгулявшіе люди поддавали ему веселья и жару, выплескивая остатки вина изъ своихъ стакановъ. И пламя вспыхивало, словно негодуя, что его подгоняють, и бросало въ толпу горстями блестящихъ искръ, шипѣло и разсылало со свистомъ по низу дровъ множество золотыхъ и синихъ змѣй.

Вокругъ этихъ сидящихъ и пьющихъ кучекъ сновали не пьющія одиночки, разнося шутки и всякія небылицы... Вспыхивали разныя игры и бѣготня вокругъ сидящихъ, озорное прыганье черезъ нихъ изподтишка. Затѣвались и плавно велись хороводы... И въ безмятежномъ весельи раскрывалась простая душа народа,—ясная, глубокая и прекрасная.

Поле шумѣло и волновалось, какъ море. И мгла ночная придавала ему глубину и безбрежность... И что-то отдаленное,—давно забытое людьми, чудилось и вставало изъ глубины прошедшаго при взглядѣ на эту картину: свободное кочевье на невѣдомой равнинѣ,—великій пиръ мира, единой и родственной человѣческой семьи... Хо-

дишь и не насмотришься на это великое смѣшеніе народа, не наслушаешься пѣсень. прибаутокъ и всяческихъ выкрутасъ похмѣлья.

А то, среди людской толкучки, вдругъ попадается цѣлая вереница таранасовъ, пролетокъ и телѣгъ. Они залегли тутъ, какъ большіе камни на рѣчной быри, а вокругъ нихъ обвивается шумно-струйный водоворотъ людской.

Въ мирной и тѣсной компаніи слились здѣсь лаковые, щегольскія пролетки и драныя телѣги, блестя древесиной. Словно отъ избытка веселья, разбѣжавшись, онѣ смѣшались въ безпорядочныя кучи и замерли вдругъ, задравъ къ верху оглобли, какъ руки, и удивленно кричали: „Ухъ ты, какъ весело здѣсь“... Такъ же мирно и кротко въ смѣшанной компаніи стояли здѣсь сытые, словно литые, рысаки—пустоплясы и тощіе, ребристые коняги. По временамъ они перекликаются другъ съ другомъ, разсылая тонкія свирѣли своего ржанія по полю... И телѣги и таранасы полны подростковъ и дѣтвора. Ихъ присутвіемъ здѣсь обнажалась до послѣдней степени необычайная жажда зрѣлища толпой, приносящей въ жертву ей самыя нѣжные цвѣты земли.—дѣтей...

Я ходилъ вмѣстѣ съ другими по полю, какъ щепочка плаваетъ по теченію, и потерялъ всякое представленіе о времени и о мѣстѣ, гдѣ нахожусь. Вездѣ было шумно и свѣтло отъ костровъ и не всегда было видно широкое свѣтлое пятно Москвы вдаль. Отъ него я находилъ тогда дрожащую ниточку фонарей надъ шоссе, отъ Москвы къ Петровскому дворцу, и воображалъ, куда надо сворачивать, чтобы пробраться къ застроенному мѣсту гуляній. Около полуночи я нашель

тотъ же самый большой и весь изрытый оврагъ, уже сплошь зашпаленный толпою, кострами и пѣсней; нѣкоторые безмятежно спали тамъ. Но мнѣ удалось еще свободно выбраться вонъ изъ него. Я очутился у самыхъ будокъ и пробрался даже сквозь нихъ на самую площадь гуляній. Здѣсь было просторно и прохладно, — хотя и уже довольно таки многолюдно... Мнѣ хотѣлось спрятаться гдѣ-нибудь здѣсь до утра и отсюда получить гостинцы, на просторѣ. Пройдясь по всему полю, мнѣ показалось страшнымъ идти утромъ со всѣми, въ тѣснотѣ, за гостинцами, съ той стороны отъ Москвы. Да и у всѣхъ, кто забрался сюда, была та же затаенная цѣль. Оставшись съ этой мыслью, я и ходилъ по полянкѣ между строекъ вмѣстѣ со многими. Загорожено ничего не было, и никто не охранялъ эти зданія, назначенныя для увеселенія насъ днемъ. Это внушило намъ чувство безответственности, и мы начали пробовать сами веселить себя. Нашли открытыми карусели и давай сами вертѣть ихъ и кататься. Потомъ загудѣли колокола подъ умѣлыми руками, ошеломляя всѣхъ неожиданными звуками въ такое время и близостью къ нимъ. Народъ валомъ повалилъ сюда, чтобы узнать, въ чемъ дѣло? Оказалось, что нѣсколько смѣльчаковъ залѣзли на колоколенку около театра и давай вызванивать!...

Колокольный звонъ, наконецъ, привлекъ сюда какое-то начальство, и насъ всѣхъ честию попросили убраться и съ колокольни, и со всей площадки. Звонарей даже и не пытались искать. Все вышло и разыгралось миролюбиво, — ушла толпа за будки безъ особыхъ понужденій, хотя

была тутъ и полиція, и конные патрули подъ конецъ.

Уходили же такъ охотно оттого, что, вѣрно, каждый думалъ про себя, какъ Крыловская муха: „Коль выгонять въ окно, такъ я влечу въ другое“. Мнѣ въ этомъ ужъ больше не посчастливилось, и я уже не видѣлъ этихъ мѣсть, какъ не попалъ и на гулянья...

Мнѣ удалось только, убѣгая, пробраться къ самому театру и напиться тамъ вволю холодной воды изъ баковъ, черезъ отвернутый кранъ. Вода бѣжала неудержимо, заворачивать было некогда и некому,—одинъ спѣшилъ напиться, обнявшись съ краномъ, а другой норовилъ поскорѣе его оттолкнуть и занять его мѣсто. Думаю, что больше вылили, чѣмъ выпили... Но тѣ, кто успѣли схватить эти нѣсколько глотковъ воды, спасли себѣ жизнь въ той *гееннѣ огненной*, которая ожидала насъ съ восходомъ солнца.

Подхваченный теченіемъ толпы, я опять очутился за будками. Огни догорали, пѣсни стихали,—близился разсвѣтъ. Замѣтно было общее утомленіе, расслабленность послѣ буйнаго угара. Сонъ ли начиналъ одолѣвать публику, или тревога какая за полученіе подарковъ,—но только все поле замѣтно передъ разсвѣтомъ замерло.

А тутъ разнесся слухъ, что вышли будто безпорядки у начальства съ толпою гдѣ-то на шоссе, и что какой-то генералъ или баронъ слетѣлъ даже съ лошади и память... Ждали, что выйдетъ; говорили, придутъ войска усмирять буйновъ, и всѣ встревожились, что былъ поближе у будокъ.

На разсвѣтъ наступило жуткое, тягостное

затишье. Всѣ примолкли и словно досадовали, что пришли сюда и забыли зачѣмъ. И хотѣлось, и нельзя было спать... Глубоко взбаламученное море глухо и порывисто вздрагивало, движеніе не прекращалось... Края все росли и ширились, люди прибывали, и прибывали толчки. Они доходили и до середины, и толпа колыхалась, глубоко и мѣрно.

Чѣмъ сильнѣе разгорался разсвѣтъ, тѣмъ чаще и глубже становились толчки. Казалось, что земля вздрагивала, а мы перекатывались по ней, какъ горохъ по неровному полу. Воздухъ недвижимъ,—его словно совсѣмъ здѣсь нѣтъ. А съ восходомъ солнца начиналось что-то непонятное... Всѣ смотрѣли и не видѣли, что такое происходитъ вокругъ и идетъ на нихъ. Чувствовалась какая-то нудная, смертельная неловкость. Было тѣсно, и тошная духота угнетала всѣхъ и вся. Каждый думалъ про себя,—будто онъ слишкомъ тепло и тяжело одѣлся, идя сюда, и это невыносимо угнетало его и возбуждало досаду на себя и всѣхъ рядомъ и кругомъ.

Такъ зарождалось въ толпѣ озлобленное и звѣрское настроеніе каждаго и всей толпы..

И все кругомъ какъ-то блекло, принимало суровый, загадочный и угрожающій видъ... Толпа распалась, теряла одушевленную слитность, спайку. И глухое молчаніе первое показало это. Всѣ стали безпокойно вертѣться, толкаться, вставать на цыпочки... Сѣрый, совсѣмъ неинтересный и безцвѣтный дымъ костровъ широкими покрывалами заволакивалъ все кругомъ и вблизи. Самое запозданіе его казалось намѣреннымъ и коварнымъ и что-то таило въ себѣ и скрывало

отъ всѣхъ насъ до времени. Онъ какъ-то до-
садливо лѣзъ въ глаза,—щекоталь дыханіе и ткаль
зыбкій покровъ раздраженія намъ людьми, оку-
тывая и ослѣпляя ихъ и сгущая злобу...

А солнце все выше и выше поднималось
надъ полемъ, и ширилась въ далекомъ небѣ его
свѣтлая власть. Распадались завѣсы дыма и гу-
стыми паутинками прилегали къ людскимъ вол-
намъ и таяли въ нихъ...

И еще глубже, и еще дальше, казалось, от-
ходить небо отъ земли. Вмѣстѣ со свѣтомъ об-
нажалась и ширилась тревога, накручивалось и
приближалось смятеніе. На смѣну дыма росло
что-то другое,—туманное, промозглое и тяжкое,
какъ прогрѣтыя нѣдра кладбища. Оно подни-
малось изъ самой толпы и недвижимо застывало
и висѣло надъ ней... Солнце пряталось въ этомъ
удушьи и прогрѣвало его. Тѣснота становилась
ужасной подъ этимъ спертымъ колпакомъ. Словно
ища выхода изъ подъ него, люди нетерпѣливо
волновались, двигались, одолѣваемые удушливой
испаринной... Становилось такъ тяжело, что смерть
казалась близкой и совсѣмъ не страшной...

Въ тѣснотѣ люди загораживали другъ отъ
друга солнце и горизонтъ. Каждому казалось,
что онъ въ ямѣ,—очень тѣсной и съ сыпучими
краями, которые вотъ-вотъ засосутъ его и уду-
шатъ. И онъ дѣлалъ усилія вылѣзть, шевелился,
хватался за края этой ямы, становился на цы-
почки и подпрыгивалъ, сколько могъ, къ верху,
ловя воздухъ. Все это создавало неопишное
раздраженіе, озлобленіе; и люди звѣрѣли невы-
разимо. Толпа безпокойно колыхалась по полю,
какъ огромное стадо, понукаемое къ движенію

сверху горячими лучами солнца, какъ ударами бича. А ужасающая тѣснота сжимала движеніе и усиливала злобу. Всякій хотѣлъ уйти и толкался, а уйти было некуда.

И мнѣ хотѣлось уйти, и я толкалъ сосѣдей, а они толкали меня. И всѣ мы были плѣнникамъ другъ друга... Еще до солнца я пробрался впередъ, сколько было можно, поближе къ будкамъ, — пока не уперся въ плотную непроницаемую стѣну изъ человѣческихъ спинъ. Это было сажень ва 20—30 до какого-то ряда будокъ. Становилось все душнѣе и душнѣе. Воздухъ былъ неподвиженъ и невыносимо тяжелъ, полный зловонныхъ испареній... Нѣкоторыхъ мутило и рвало тутъ-же, въ человѣческой гущѣ. Это было ужасно. Поднимался безсильный вой отвращенія и озлобленія — кажется, подрались-бы и на смерть избивали другъ друга, да разойтись негдѣ! Тѣснота спасала людей отъ еще худшаго, чѣмъ она сама, связывая въ нихъ самое дикое озвѣреніе.

Всѣми начинало овладѣвать отчаяніе тупое и жесткое. Каждый чувствовалъ себя въ ловушкѣ, изъ которой не видѣлъ выхода, и долженъ былъ раздѣлить свою судьбу со всѣми... И насколько привлекало и радовало вечеромъ людское множество, на столько теперь оно пугало и было грозившимся. Всѣ были изнурены долгимъ стояніемъ на ногахъ и этою непрерывною толчеей на одномъ мѣстѣ. Хотѣлось мучительно пить... и глотали согрѣтый, испорченный и спершійся воздухъ. Всѣ были мокры отъ пота, и лица у всѣхъ казались заплаканными.

Было мучительно и нудно это непрерывное движеніе. Все время приходилось шевелить но-

гами, чтобы не быть сбитымъ и смятымъ. Плечи были вплотную стиснуты съ сосѣдами и непрозвольно колыхались общей массой, а ноги должны были поспѣвать за плечами, какъ весла за лодкой, не то грозила гибель: соскользнуть внизъ и потонуть подъ ногами.

Временами толпою какъ будто овладѣвало раздумье, и она затихала и замирала не надолго. Тогда она чуть-чуть рѣдѣла. И въ минутномъ затишьи движенія начинался страшный отборъ живыхъ и мертвыхъ... Многіе уже давно были полумертвы отъ обморока и волочились вмѣстѣ со всѣми, плотно сжатые тѣснотой. А какъ чуть становилось просторнѣе и исчезали подпорки, они рѣзко склонялись на плечо сосѣду, обдавая его лицо и шею крупными каплями холоднаго жота... Тотъ брезгливо подергивался и сторонился. А обморочный склонялся все ниже и ниже, увлекаемый собственной тяжестью къ землѣ.

Съ начала суматохи недалеко отъ меня, у будокъ, виднѣлись солдаты, конные и пѣшіе. Кой-гдѣ имъ еще удавалось проникать въ толщу толпы и уносить вонь мертвыхъ и задыхающихся. А потомъ это стало уже невозможнымъ, и толпа просто выдавила вонь солдатъ, по ту сторону будокъ. Живые выдавливались толпою вонь изъ себя, кверху, а мертвые внизъ.

Снова откуда-то приходили и напирали толчки и поднималось движеніе. Въ колебаніи несмѣтной толпы былъ какой-то осмысленный и затаенный ритмъ. И дыханія этого ритма были такъ похожи на дыханія моря въ приливѣ и отливѣ...

А упавшіе никогда не встанутъ больше. Они не станутъ вновь ходить по этой землѣ. Они

исчезали подъ ногами до страшнаго часа дня Божьяго суда...

И люди ходили по людямъ, смѣшивали ихъ съ землей, до неузнаваемости уродовали сапогами ихъ лица... И я ходить по упавшимъ, добивая ихъ вмѣстѣ со всѣми невольно. Вотъ чувствуешь, что подъ тобой человѣкъ, что ты стоишь на его ногѣ, на груди,—весь дрожишь на мѣстѣ, а податься некуда. Сами собой поджимаются ноги... Но плечи и грудь твоя крѣпко зажата сосѣдями,—хочешь не хочешь, шевели ногами, поспѣвай и ходи въ этомъ дьявольскомъ хороводѣ со всѣми. Оттолкнешься объ лежачаго и норовишь хоть немного податься выше...

Смятеніе и давка накручивались по мѣрѣ нагрѣванія поля. Чѣмъ сильнѣе былъ солнечный нагрѣвъ, тѣмъ сильнѣе вскипалъ этотъ людской котель...

Все чаще и чаще стали исчезать и мѣняться у меня обморочные сосѣди. То и дѣло спотыкаешься на нихъ, нащупываешь ихъ ногами. Чуть станетъ просторнѣй, онъ покачнется на бокъ, ему наступаютъ на ступню, потомъ на колѣни,—и нѣтъ человѣка. Поглотило людское море...

Всѣ изнемогали и были съ раскрытыми ртами, мучительно часто икали, ловя воздухъ, какъ рыба, вынутая изъ воды, и склонялись другъ на друга, клали руки на плечи. Отъ этого становилось совсѣмъ тяжело... Руки валяются, какъ плети, книзу, а нужно держать ихъ наготовѣ, у груди, чтобы въ давкѣ работать ими и защищать грудную клетку отъ полома. И это ощущеніе чужой головы на спинѣ или горячей руки на плечахъ, было какъ горячимъ уголькомъ на обожженное

мѣсто. Кричать, звѣрѣютъ и царапаютъ руки другъ друга, дергаютъ плечами и головой, скрѣпятъ зубами, гнусно и тупо ругаются... Не знаю, было ли бы и въ аду такъ. Развѣ только, что тамъ жарче.

Ни вѣтра, ни времени словно не существовало вовсе. Тягучая, нудная безконечность овладѣла нами и носила насъ по полю... Казалось, половина толпы потеряла сознание и представление того, что творилось вокругъ и могло еще быть... Спереди несутся неистовые вопли: „Православные, мы погибаемъ,—ради Бога, не напирайте!“... Мы передаемъ это дальше въ глубину, и это на разные голоса непрерывно несется по полю съ плачемъ, какъ приговоромъ по самимъ себѣ... Словно сразу въ тысячи мѣстахъ когонибудь хоронить и отпѣваетъ эта толпа.

По головамъ и плечамъ то и дѣло идутъ и ползутъ съ плачемъ дѣти, вырвавшіяся изъ этого безкрайнаго котла съ человѣчьимъ варевомъ. Они почти спаслись и разслабленно, неуверенно ползутъ надъ нами впередъ къ будкамъ, то и дѣло оглядываясь: ихъ родители плотно застряли тамъ сзади внизу,—кипятъ въ котлѣ.

Спереди кричатъ: „Садитесь, садитесь на земь всѣ“. Опустились, и стали видны будки, а на нихъ ребятишки, словно на островкахъ спасшіяся отъ крушенія на морѣ. Кому-то пришло въ голову искать спасенія отъ давки этою проповѣдью сажанія, и всѣ голоса о томъ же... А только усядутся, вдругъ сзади слѣпо напрутъ и снова застилаютъ, сметають усѣвшихся упавшими на нихъ, и давка только росла, увеличивая панику. Или толпа принималась пѣть, жадно и

слитно: „Спаси, Господи, люди Твоя“... „Царю небесный, Утѣшителю“. И первые слова молитвы жарко и сильно брались толпою, потомъ пѣніе слабѣло и терялось, а подѣ конецъ переходило въ нестройное бормотаніе только немногихъ.

Утопающій хватается за соломинку, и вотъ несмѣтная толпа, — тонущая у себя самой подѣ ногами, — какъ миллионъ стѣпцовъ, застрявшій въ оврагѣ безъ поводырей была немощна, какъ огромное дитя. И въ этой бессмысленной толчеѣ она пыталась молитвою придать себѣ хоть какой-нибудь смыслъ и единство... А между тѣмъ эта толпа обладала страшную силой всѣхъ собравшихся въ ней и могла бы срыть любую гору съ мѣста, вырыть новый путь рѣкѣ!...

У меня, — какъ вѣрно и у многихъ, — были изщипаны всѣ икры ногъ, изорваны брюки снизу и даже оторвали подметки штиблетъ... Нечаянно спотыкнувшіеся хватались за ноги устоявшихъ. Они боролись съ ними и валили ихъ къ низу на себя, если побѣждали, — или придавливались въ толчеѣ такимъ множествомъ ногъ сразу и такъ плотно, что не успѣвали и пикнуть.

Ужась давки все болѣе и болѣе обнажался. Посинѣвшіе и желтые сосѣди — мертвецы ходящіе по полю, зажатые среди живыхъ, никого не пугали, не удивляли ужъ больше... И всѣ мы привыкли и научились ходить черезъ мертвыхъ внизу, не спотыкаясь. И минута жизни нашей на этомъ полѣ значила годы переживаній.

То жизнь, то смерть глядѣли на насъ и звали съ собой.

Передъ самой развязкой толпа какъ-бы чушь-емъ раздѣлилась на двѣ неравныя по силѣ сто-

роны. Одна, меньшая, но осыренная уже безумием своей гибели, отчаянно рвалась кверху и назад и долго боролась съ изумительной стойкостью и силой. Она стояла впереди широким фронтомъ,—вдоль ряда будокъ и, прижатая къ нему, видѣла свою неминуемую гибель; видѣла, что своими тѣлами должна будетъ стереть и снести эти будки съ своего пути,—или же будетъ стерта въ порошокъ и изломана объ эти будки другою толпой, ничего не видѣвшей и ломившейся издали впередъ со страшною силою...

Меньшая, близкая къ гибели, часть толпы вопила смертельно и молила большую „не напирать“... А та все лѣзла и лѣзла и сжимала ее въ смертельной тѣснотѣ... Я чувствовалъ, что силы начинаютъ покидать меня, руки висятъ, какъ плети, и не защищаютъ больше уже груди отъ давки. Сознаніе неизбежности конца какъ-то примиряло, и я не помню ни лицъ моихъ соѣдѣй, ни того, чтобы я былъ озлобленъ на нихъ, что вотъ, сію же минуту, они вотъ-вотъ пройдутъ по мнѣ...

Я помнилъ отчетливо всю свою родню въ тѣ минуты и думалъ о матери, что не увижу ее навѣрно, и мнѣ не хотѣлось плакать, хотя я ее и очень любилъ...

Я все тянулся за воздухомъ кверху, становился на цыпочки и подпрыгивалъ, когда было можно. Много разъ я дѣлалъ попытки выскользнуть кверху и убѣжать по головамъ до будокъ, и всякій разъ меня били и толкали сосѣди и осаживали назадъ. Не одинъ разъ протаскивались надъ моей головой женщины и старики. Ихъ толпа щадяла и давала дорогу по своимъ голо-

вамъ. Часто они были отвратительно измяты, ..
внутренности ихъ были до нельзя взбудоражены
и сочились вонючею слизью на наши лица. Они
стонали и ползли по головамъ толпы, какъ ра-
ненные съ поля битвы. И дѣтей щадила толпа и
передавала ихъ любовно съ головы на голову, —
словно раскаиваясь въ своей винѣ, что привлекла
ихъ съ собою сюда...

А чуть кто помоложе да поздоровѣе (вродѣ
меня) выберется кверху, его почти голаго живо
и злобно сдергивали внизъ, срывая съ него по-
слѣднія остатки платья. Наконецъ, не помню уже
какъ, я совсѣмъ было выбрался изъ толпы кверху.
Но подоспѣлъ новый вздохъ прилива, шкваль
опять стиснулъ толпу, и я остался висѣть на
воздухѣ, зажатый плечами сосѣдей по поясицу.
Такъ, съ ущемленными ногами, я и застрялъ
вверху надъ плечами сосѣдей, до самаго конца!

Мнѣ стало видно довольно далеко вокругъ.
Предо мною колыхалась толпа, — страшная въ
своемъ множествѣ вдали и жалкая въ своей без-
помощности вокругъ и вблизи меня... Вся толпа,
какъ будто въ водѣ, стояла по самый подборо-
докъ и уровень воды все повышался, грозя ее
затопить совсѣмъ. Боясь захлебнуться, толпа
судорожно трепетала, и каждымъ отдѣльнымъ
человѣкомъ, и вся вмѣстѣ тянулась кверху без-
численнымъ множествомъ своихъ лицъ... Я уви-
дѣлъ передъ собой какъ бы большую площадь,
замощенную человѣчьими головами... И давило
это множество вытянувшихся кверху лицъ, влаж-
ныхъ и блестящихъ на солнцѣ, какъ камни
плотно утрамбованной и политой мостовой.

И все вокругъ гудѣло звуками, какъ море,

взбудораженное шкваломъ. Потныя лица рябили въ глазахъ и на нихъ или кипѣло отчаяніе и злоба, или застыло холодное равнодушіе смерти... Одни барахтались и дико орали, отстаивали себя, отталкивались другъ отъ друга и снова сталкивались въ этомъ вынужденномъ сближеніи. Головы крутились по сторонамъ, пересохшія и растрескавшіяся губы жевали сами себя да воздухъ, налившіеся кровью, вытаращенные глаза не мигали. Руки, у кого были онѣ еще не стиснуты, искали опоры и беспомощно опускались на плечи и головы сосѣдей, отталкивались, царапались и бились другими руками, сбрасывались прочь...

А ослабшіе безвольно никли другъ къ другу, тяжело топтались на мѣстѣ, какъ подъ непосильною кладью на плечахъ, съ застывшимъ ужасомъ на лицахъ, кротко умирая въ этомъ замедленномъ удушьи.

Ужасно было смотрѣть на все это вблизи и ждать беспомощно своей участи съ открытыми глазами и не помутившимся разсудкомъ. А издали надвигалось то же самое и давило огромностью своей бессмыслицы, медленностью приближенія неотвратимой смерти... Страшное открытое лицо ея видѣлось въ этомъ вотъ длительномъ умираніи вокругъ, въ мягкихъ и тупыхъ ударахъ челоуѣка челоуѣкомъ, въ топтаніи и тисканьи другъ друга,—въ равнодушныхъ, торчащихъ стоямя мертвецахъ, рядомъ съ плачущими предсмертнымъ воемъ живыми...

И смерть, и адъ со всѣхъ сторонъ...

Густымъ и высокимъ пологомъ стоялъ зловонный туманъ надъ толпою, какъ горячій водяной паръ въ банѣ. Большимъ безобразнымъ зло-

вѣщимъ кровавымъ глазомъ, смотрѣло солнце сквозь туманъ, —совсѣмъ не круглое, похожее на кривое колесо, висящее въ туманѣ. И вдругъ вспомнилось такое-жъ солнце въ Словѣ о полку Игоревѣ на картинѣ Виктора Васнецова.

Ни понять, ни разобрать ничего нельзя было... Кричали, дрались, ругались, дико визжали и, кажется, грызлись между собою всѣ. Иногда вдругъ выскакиваютъ спереди совсѣмъ оборванные и идутъ назадъ по головамъ туда, вглубь. Махаютъ руками и лохмотьями и молятъ остановиться, не напирать. Идутъ они неувѣренно, какъ по болотнымъ кочкамъ, по людскимъ головамъ и плечамъ. Но что можетъ быть слышно въ такомъ гамѣ и далеко-ль? И всѣ усилія кажутся такими жалкими, ненужными, и говорящихъ злобно стряхиваютъ ближайшіе съ себя. Словно неловко спотыкнувшись съ кочки, они исчезали внизу. И оттуда, изъ глубины, все напирало на переднихъ. А передніе ужъ не сопротивлялись своей смерти и только крѣпко топтались на мѣстѣ, словно разглядывая лучше ея лицо.

Матери молились и причитали и плакали • дѣтяхъ, пущенныхъ кверху по головамъ, обнимались въ клубокъ съ мужьями и братьями. Я помню близко отъ себя огромнаго купца-великана красавца. Его длинные волосы были мокры, спутались и прилипли вокругъ лица: отъ страха и изнеможенія изъ бѣлокурога красавца онъ выглядывалъ смуглымъ, багровымъ. Полнокровное лицо • почернѣло отъ страха, и кровь его ужъ чуяла близкую землю и разложеніе...

Онъ то по-бабьему пискливо жаловался, что попалъ нечаянно сюда въ тяжелыхъ сапогахъ и

виджакъ, съ массивною цѣпью часовъ и бумажникомъ...

„Подошелъ съ краюшка полюбопытствовать“, — и былъ взятъ толпою въ плѣнъ.

То съ отчаяніемъ испуганнаго животнаго громко вылъ онъ и просилъ выпустить его. У него жена, дѣти, торговля. Онъ потрясалъ въ воздухъ объемистымъ бумажникомъ, кричалъ, что въ немъ многіе сотни рублей, и онъ отдастъ ихъ и часы тому, кто его вызволить вонъ изъ этой каши, проложить ему дорогу. И все это было жалко, ненужно и бессильно въ этомъ морѣ утопающихъ... Передъ нимъ не разступились, — не бросились пролагать ему дорогу. Страхъ смерти равнялъ всѣхъ и обезцѣнивалъ всѣ иныя цѣнности, кромѣ одной жизни!

Тяжко и мѣрно наступали сзади. Передніе не то что сопротивлялись, а расплывались направо и влѣво, топтались на мѣстѣ. Помню, я то упирался въ будки глазами, то въ промежуткѣ между ними я видѣлъ поле гулянья. сарай съ бочками, карусели, столбы съ призами вверху. — Тамъ ждали насъ коварные самовары, да гармоники, шолковыя рубахи и плисовые шаровары колыхались на недоступной высотѣ.

А посрединѣ — поляна, — изумрудная и ласковая подъ солнцемъ. Она еще нѣжилась въ утреннемъ туманѣ и не разставалась съ росой, какъ бы совсѣмъ не ожидая такъ рано гостей, безумно рвущихся къ ней.

И нѣжное майское утро ласково и тихо будило день.

А дальше ровный валикъ шоссе со снующими всадниками, и красивый Петровскій дво-

рець, бѣлаго съ краснымъ камня, съ длинными узкими окнами прекраснаго купола въ центрѣ, нѣжился въ утренней мглѣ. Лѣвѣе и дальше дворца синѣла роца села Всехсвятскаго. Изъ роци выглядывала высокая церковь села, бѣлая съ зеленой крышей. Закутанная мглой, вдали отъ шума, она словно дремала еще и казалось одухотворенной и прозрачной, скрывая линіи своихъ очертаній.

А еще лѣвѣе село Покровское-Глѣбово. А далѣе, завершая полукругъ горизонта надъ ходынскимъ полемъ, бѣлѣла, какъ призракъ въ дали, церковь села Крылацкаго, на горкѣ за Москвой. Совсѣмъ около насъ бѣлѣлись палатки Ходынскаго лагеря слѣва.

Широкое чистое небо говорило о просторѣ своемъ. И словно желая убѣдить людей въ этомъ, оно катило все выше и выше яркое солнце по тверди своей, озаряя свои синія глубины...

А сбитые въ кучу люди задыхались въ тѣснотѣ, ничего не видя, — и все поле, занятое ими, вздымало къ небу вопли со зловонной испариной.. Жалкія уродливыя будки, наскоро сколоченныя и набитыя узелками съ протухшей колбасой, гнилыми пирожками и пряниками, заготовленными за полгода впередъ, сѣрая орленая кружка съ гербомъ „на память“, — застилали все: и солнце, и небо, и вопли близкихъ своихъ, растираемыхъ въ лепешку ногами теперь...

А всего только нѣсколько часовъ назадъ эти люди чокались стаканами, плясали и пѣли, и цѣловались въ полу-пьяномъ радушьи съ тѣми, которыхъ теперь попирали ногами.

Страшная и жалкая толпа ломилась впередъ.

Я висѣлъ надъ нею и смотрѣлъ во всѣ стороны безсильно и равнодушно. По ту сторону будокъ прохаживалась чистая и покойная публика. Уже вся площадка набита ею. У будокъ стояли кой-гдѣ спѣшенные казаки у барьеровъ. Вблизи будки были кругловатыя, по срединѣ перехваченныя тесовыми прилавочками и соединенныя ими другъ съ другомъ. Изъ каждой будки и изъ каждаго промежутка между двухъ будокъ получались треугольники—воронки, жерломъ обращенныя въ публику. Треугольникъ будокъ одною гранью давалъ подобіе острія, и оно было обращено на насъ, какъ бы собираясь сейчасъ разрѣзать насъ, отражая нашъ напоръ. А въ промежуткахъ граней треугольникъ лежалъ къ намъ широкой, прямой линіей,—какъ бы приглашая насъ довѣрчиво войти... Приглашеніе же это было коварно: у самаго выхода, обращеннаго отъ толпы къ полю гуляній, онъ видимо суживался,—давая выходъ одному, впустивши къ себѣ человѣкъ двадцать.

При напорѣ толпы сзади эти будки неизбежно должны были превратиться въ мельницы—костоломки, которыя стоятъ, ожидая напора воды, чтобы пристукнуть насъ своими жерновами, а то и совсѣмъ измолоть...

И миллионная толпа тяжело и грузно шла къ этимъ эшафотамъ, которые словно и воздвигнуты были для казни ея слѣпоты. Изъ своихъ тяжелыхъ животныхъ испареній она сама сплела себѣ повязку на глаза и разумъ Божій и шла, какъ приговоренная къ смерти... И какъ слѣпая, шла сама въ ея объятія! Шагъ впередъ, два назадъ, топталась она на мѣстѣ, направо—налѣво и снова шагъ впередъ, колыхаясь во всѣ стороны.

На будкахъ уже не было испуганныхъ и смятыхъ дѣтей, а были любопытные. И прибавлялись любопытные по ту сторону будокъ. Въ будкахъ стояли артельщики, назначенные раздавать гостинцы. И они, вѣрно, сидѣли тутъ также съ ночи и сторожили свое недоброе добро.

Мнѣ казалось, что съ той стороны кое-кто изъ чистой публики, вѣроятно, за плату, стали разбирать кружки. Но пока это не было замѣтно массѣ, она была сравнительно покойна. Но мелькнулъ съ той стороны узелокъ, чуть кверху, потомъ и съ нашей видны были полученные узелки. Это уже можетъ быть для того, чтобы задобрить стоявшихъ у будокъ по эту сторону и видѣвшихъ сдѣлку и какъ полученная мзда за нее.

* * *

Съ чего началось это? Вдругъ словно молнія возбужденія прошла по толпѣ, она неистово зашевелилась, склеилась въ одномъ порывѣ, загалдѣла.

Мелькнуло нѣсколько узелковъ и пронеслось роковое слово: „даютъ“!... Его подхватили и стоящіе возлѣ меня, и меньшая часть толпы произнесла надъ собой приговоръ безъ отсрочки, проговоривъ это слово. Сзади, изъ глубины, бѣшено ползли впередъ. Заорали съ остервенѣніемъ: „даютъ! даютъ! не зѣвай наши!“...

— Ур-рр-а-а!!!...— Даютъ! Даютъ!

— А-а-а...О-о-о...

Дикій сплошной крикъ и гулъ.

И заработали мельницы—костоломки подъ напоромъ людского потока.

Эшафоты не справлялись съ обиліемъ жертвъ, трещали и кряхтѣли подъ напоромъ...

Видимо, изъ чувства самозащиты артельщики сами начали раздачу кружкѣ и узелковъ на обѣ стороны сразу. Предоставленные самимъ себѣ, избѣнные толпою съ обѣихъ сторонъ и, опасаясь за свою участь, они стали кидать кружки во всѣ стороны. Что началось тутъ, и рассказать невозможно...

Когда артельщики начали раздачу и произошло надъ толпою „ура“, — многотысячная толпа, спокойно гулявшая на застроенномъ полѣ гулянья, также стремительно бросилась къ будкамъ съ той стороны тоже за узелками. И по ту сторону будокъ началось то же самое, что нѣсколько часовъ уже происходило у насъ... Только въ меньшемъ размѣрѣ и на ровномъ мѣстѣ.

Для насъ же рвущіеся за узелками съ той стороны являлись новымъ препятствіемъ, — пробкой, закупоривающей выходъ. Не будь этого встрѣчнаго напора съ той стороны, груды мертвыхъ тѣлъ на нашей сторонѣ не были бы такъ высоки... У проходовъ будокъ боролись два теченія, двѣ толпы. Каждая устинала свой путь наступленія трупами. Повторилось и то, что было еще до раздачи по одну сторону только, — до солнца, когда изъ глубины толпы напирала къ будкамъ, не видя и не зная, что тамъ дѣлалось. И чистая, покойно гулявшая публика, устремилась къ проходамъ, напирала загораживая намъ выходъ, не видя, изъ какого ада мы дѣзли вонъ, устраивала отпоръ нашему напору.

Артельщики многихъ будокъ хотѣли остановить силу напора толпы на себя и стали забрасывать узелками далеко впередъ себя, навстрѣчу толпѣ. Это усиліе было напраснымъ и только

создавало новое замѣшательство и новыя жертвы. Узелки конечно застревали въ толпѣ, не касаясь земли. Люди стояли стѣной съ поднятыми руками подъ дождемъ узелковъ и хватали ихъ на лету, вырывали другъ у друга изъ рукъ.

Я былъ совсѣмъ уже около будокъ, по-прежнему зажатый, какъ въ тискахъ, плечами сосѣдей. Въ ушахъ стоялъ звонъ отъ неистоваго оглушающаго гама. Мною овладѣло какое-то предсмертное равнодушіе къ окружающему: даже мысленно лѣнь было перекреститься за себя, помянуть въ молитвѣ мать,—въ послѣдній разъ.

Все равно, что будетъ, только бы скорѣе шло это.

Какъ ни страшенъ былъ напоръ, а не скоро еще внесло имъ меня въ воронку, между будками, и все относилло нѣсколько влѣво. Только приглядишься къ „своей“ будкѣ, анъ смотришь—опять несеть къ другой, рядомъ. Стоялъ такой ужасный крикъ высокими нотами ненависти, отчаянія и плача, что въ ухѣ онъ отдавался безконечнымъ пронзительнымъ свистомъ, отъ котораго стояли мурашки на спинѣ и темнѣло въ глазахъ...

Словно стоишь у раскрытаго зѣва вулкана или надъ адомъ и слышишь въ отдушину адскіе звуки.

И вспомнилось что-то похожее на это изъ дѣтства. Открывали въ Москвѣ новыя „центральныя бани“, и говорилось про нихъ что-то необыкновенное. И въ первую же субботу туда сошлася вся мастеровая рабочая Москва.

Мастеровые пришли, какъ и сюда, артелями. Тѣснота, давка, ничего не видно въ пару,—тогда

они принялись перекликаться, гикать и свистеть... Началась такая сумятица, что многие поближе къ дверямъ бросились вонъ. Были тамъ и ушибленные, и ошпаренные слегка.

Но вотъ и я у входа въ воронку. Кажется, ужь близка и смерть. Прижатые къ стѣнкамъ валились скошеннымъ стѣномъ. Вотъ они упираются сперва обѣими руками въ стѣну будки, — неловко раскарячившись. Уже лежали мертвые и торчали руками къверху, — опрокинутые у самой стѣнки, — первые стукнувшіеся объ нее. Чтобы не споткнуться объ нихъ и пройти самимъ, — отставивъ ноги, упираясь въ стѣнку руками, стояли и ждали своей участи слѣдующія жертвы. Слышно, какъ хрустятъ кости и ломаются руки, хлюпаютъ внутренности и кровь. А у стѣнки поварачиваются напоромъ съ боку на бокъ люди, хрустятъ или отрываются одна за другой руки, судорожно уцѣпившіяся за стѣнку, и кувыркаются вверхъ ногами люди, живые еще, и трутся и колотятся объ стѣнку мервые, припертые напоромъ въ узилищѣ, стоямя къ ней... Воронка, какъ пастъ, давилась жертвами и медленно ихъ пережевывала. Движеніе замедлялось и изъ треугольника не выходили, а кувыркомъ вылетали, — какъ пыжи изъ дула... Толпа на мигъ замирала надъ поверженными на землю. Она то и дѣло вздувалась небольшими бугорками, пока смятые не подминались вплотную къ землѣ. А потомъ эти бугорки опять всасывались въ себя толпою, осѣдали здѣсь, чтобы вздуться и тяжело осѣсть тамъ и сямъ рядомъ...

У стѣнокъ воронки это дѣлалось очень замѣтно, и быстро вздувала толпа бугорки изъ

людей надъ смятыми, возвышая уровень свой у досчатой стѣны будки,—какъ полая вода у рѣчного водомѣра. Дальше я ничего не помню. Упалъ.

Опомнился я весь въ крови по ту сторону, не вдалекѣ отъ будокъ, на лужайкѣ. Донесенный на плечахъ до самаго горлышка воронки—барьера, я вѣроятно упалъ подъ ноги по ту сторону, какъ только разошлись люди, державшіе меня между плечъ, и меня оттащили дальше... Но по мнѣ успѣли пройти каблуками, и на лѣвой скулѣ отпечаталось два каблука гвоздями, ввидѣ упавшей горизонтально цифры три.

Я оглянулся назадъ къ будкамъ. Все пространство отъ меня до будокъ устѣяно павшими, мертвыми или не очнувшимися отъ обморока. Нѣкоторые лежали вытянувшись какъ покойники дома—на своихъ столахъ, подъ образами. И были, повидимому, мертвы. У многихъ изъ нихъ лежали подъ головами только что добытые узелки съ гостинцами. Другіе держали ихъ на груди въ скрещенныхъ рукахъ... Среди общей сумятицы невольно останавливали всѣхъ и настраивали по своему эти чинные и строгіе покойники. Какая-то скрытая сила выявилась и такъ твердо и покойно разложила ихъ тутъ, наперекоръ крутящемуся вихрю смятенія.

... А дальше, у самыхъ будокъ, все еще крутился тотъ же вихрь ужаса и смерти. Люди все еще продирались сквозь другъ друга: одни за кружками къ будкамъ, другіе съ добытыми кружками вылетали стремглавъ изъ проходовъ, оборванные, мокрые отъ пота и крови, съ дикими

выпученными рачьими глазами. Иные здоровяки, получившіе уже по узелку, снова устремлялись къ будкамъ, работали кулаками, локтями и плечами, чтобы получить еще и еще для своихъ родичей. А то и просто вырывали изъ рукъ у слабыхъ узелки, не ходя далеко.

Разсказывали, что въ одномъ мѣстѣ все было успокоилось, и узелки еще оставались, а народа не было. Пришло распоряженіе снова начать раздачу,—хотя еще и не были убраны задавленные у проходовъ. И опять бросились сюда съ обѣихъ сторонъ и снова были растоптанные. А расшорядился такъ какой-то баронъ...

Выходя изъ проходовъ, не пострадавшая часть публики устремлялась вглубь къ постройкамъ.

Вдали у сараевъ съ пивомъ и медомъ копошилось много народу. Сарай трещали и разламывались, бочки скидывались, огромныя пирамиды ихъ распадались. Тутъ же на лугу разбивали имъ дно, чтобы черпать и пить скорѣе кружкой...

А передъ сараями стояли узенькія корытца, надъ ними трубочки съ кранами, изъ которыхъ должно бы наливаться изъ бочекъ чинно пиво и медъ и церемонно выпиваться изъ кружекъ. Кажется, все было заботливо предусмотрено,—а и здѣсь все пошло по-другому,—какъ и у будокъ.

Я чувствовалъ ужасную слабость и тяжесть и не рѣшался дойти до сараевъ. Близко около меня, рядомъ, сидѣлъ на лужайкѣ большой, грузный татаринъ. Изъ-подъ его тобетейки на лобъ струились ручейки пота, и весь онъ былъ какъ изъ бани, красный и мокрый... У его ногъ лежалъ узелокъ съ гостинцами, и онъ ѣлъ пряникъ

и пирожокъ, кусая ихъ по очереди, запивая изъ кружки медомъ...

Я попросилъ его дать мнѣ попить, онъ подалъ меду изъ своей кружки. У него уцѣлѣла даже цѣпочка часовъ! Спрашиваю, сколько времени?

— Десять часовъ.

На мои сожалѣнія, что вотъ, молъ, меня смяли, а я ничего не получилъ, — татаринъ пошелъ и вскорѣ принесъ мнѣ узелокъ гостинцевъ и кружку изъ будки...

Я рѣшилъ, что до Москвы мнѣ не дойти теперь, а лучше пойду-ка я въ лагери, по близости. Тамъ у меня есть двоюродный братъ музыкантомъ въ Самогитскомъ полку, — отдохну и выплююсь у него и покажу лицо ротному фельдшеру знакому. Въ узелкѣ же лежала книжечка съ описаніемъ гуляній и развлеченій на полѣ, — очень заманчивыхъ. Не худо бы, отдохнувши, посмотрѣть все. Я пошелъ напрямки къ лагерямъ, черезъ то-же мѣсто, противъ котораго всталъ только что. Было также людно, и народъ толпился за будками, никуда не спѣша, безъ шапокъ, растерянно топчась на одномъ мѣстѣ. Я начиналъ снова припоминать ужасы утра... Да они и сами воочию стали являться мнѣ на каждомъ шагу.

Увидя первую раздавленную женщину, спокойно лежащую на землѣ, я остолбенѣлъ... Можно было подумать, что она спала или въ обморокъ, если бы не огромнымъ комомъ раздувшійся животъ; рядомъ мальчикъ лѣтъ 8, и держались они за руки. Кругомъ скорбные и смущенные голоса, осудившіе покойную.

— На сносяхъ была. Зачѣмъ пошла?

— Да развѣ умирать, а не веселиться шла она сюда съ сыномъ и, вѣрно, съ мужемъ?

Дальше больше. Прикрытые пиджаками, платками, лежали они повсюду и вперемежку, мужчины и женщины... Лица ихъ были такъ изуродованы, что толпа сама закрывала ихъ теперь, стыдясь своего звѣрства. Всюду стояли красноватыя вонючія лужицы, разлагавшіяся подъ солнцемъ, валялись платки и ожерелья, стеклянныя бусы, бутылки, смятыя гармоникки, картузы и, даже, цилиндры,—кочья вырванныхъ волосъ... И люди, люди,—тучные, смятые, вздушіеся...

Тихо, какъ на кладбищѣ, на которомъ было множество мертвыхъ, ожидающихъ своего погребенія, и не было ни могилъ, ни крестовъ... Безшумно толпились живые вокругъ мертвыхъ, и было жутко отъ этой пришибленности и тишины среди несмѣтнаго многолюдства. Съ опущенными и обнаженными головами толклась теперь эта толпа, переговариваясь почти что шопотомъ. Передъ нею на землѣ было словно опрокинутое зеркало, въ которомъ застыли отраженія ея тупости, темноты и звѣрства, и она, дѣтски испуганная, полная ужаса, вглядывалась въ него, не узнавая себя, не вѣря этому страшному зеркалу,—своему отраженію въ немъ!...

Вотъ лежитъ совсѣмъ не покрытая дѣвушка въ розовой кофтѣ, съ роскошною черной и толстой косой. А лица нѣтъ. Все оно сбито и сплющено сапогами толпы. Только бѣлая, нѣжная шея была пощажена и говорила о томъ, что и лицо было нѣжнымъ и, навѣрно, красивымъ.

Испуганный этими встрѣчами и совсѣмъ того не ожидавшій, я метался по полю и всюду на-

тыкался на невыразимые ужасы предсмертнаго озвѣрѣнія людей. Тѣла лежали сѣпившимися, свернувшись въ комокъ, въ страшныхъ переплетеніяхъ ногъ, колѣнъ, рукъ со скрюченными пальцами, истоптанными лицами, разорванными щеками, выдавленными животами, выпяченными, необыкновенно большими языками...

И словно по огромному полю метался я, гдѣ только что тупо дрались двѣ полумилліонныя арміи,—вооруженныя кулакомъ, да сапогомъ.

Говорили, что пожарные только что разобрали кучу тѣлъ, и оказалось, что одинъ лежалъ пятнадцатымъ отъ верху,—а были люди и подъ нимъ. Онъ оказался живымъ.

Попадались прикрытые рогожкой и засыпанные мѣдными деньгами тѣла. Толпа уже разглядѣла себя въ этомъ страшномъ зеркалѣ и раскаянно скулила и взывала. Опять разгорался шумъ смятенія и ужаса. Кидаясь такъ туда и сюда въ одномъ мѣстѣ, я наткнулся на канавы и рвы, засыпанные, какъ мусоромъ сломанной стройки, людскими тѣлами. Здѣсь была Всероссійская 1882 года и Французская 1889 года выставки. И каждая ямка здѣсь, и каждая складочка земли теперь были засыпаны людьми. Казалось, что они играютъ здѣсь, притаились молчкомъ на минутку и встанутъ сейчасъ, вспугнувъ другъ друга,—такъ много валялось ихъ тутъ, высокими кучами, что не вѣрилось просто, что это все люди и люди мертвые!

Я бросился обратно къ Москвѣ, къ шоссе.

Уже явилась и полиція. Она яростно обрушивалась на фотографовъ, которыхъ буквально за шиворотъ гнали прочь... Являлись и пожарные

съ огромными обозами. Они обращались съ раздавленными и полуживыми обморочными людьми, какъ съ обгорѣлыми бревнами на пожарѣ. Хватали за руки и ноги, долго раскачивали и подкидывали тѣла надъ обозомъ, тѣла падали шумно и грузно,—хлюпая вздувшимися животами...

Солнце палило, было тихо и пыльно. Удушье разложенія и пыли стояло надъ полемъ такъ плотно, что вѣтеръ и не пытался разогнать его. Въ воздухѣ, кажется, и топоръ бы застрялъ. Страшное движеніе и сушь такъ толкли пыль, что стояла настоящая тьма египетская, застилавшая солнце.

Я шель вдоль шоссе. Всюду валялись люди, хотя будки были уже далеко сзади. Пыль слѣпила глаза, и люди буквально стукались лбами и опрокидывали другъ друга. Въ пяти шагахъ ничего не было видно.

Москва услышала про давку и теперь поднялись, кажется, всѣ,—и съ плачемъ устремились сюда, къ полю, разыскивать своихъ. Одна толпа изъ такихъ полу-живыхъ, какъ я, шла на Москву, а другая, сильная, встревоженная, валила изъ Москвы и сбивала насъ съ ногъ. Давка подходила вплотную къ самой Москвѣ—Ходынка неудержимо ширилась...

Уныніе и растерянность царили надъ городомъ,—ярко и нарядно изукрашенномъ флагами и зелеными гирляндами. Москва стояла, какъ невѣста, совсѣмъ готовая вѣнчаться,—и получившая отказъ отъ жениха.

Опять эти люди, вчера шедшіе туда, а теперь оттуда, вновь нарушаютъ ея каменистую строгость. Улицы, тротуары, парадныя крыльца

устланы людскимъ валежникомъ, и то и дѣло
стался онъ вновь. Всѣ бульвары устилаются имъ.
Печаль и пришибленность всюду.

Далеко за полдень пришелъ я въ свою ма-
стерскую на Страстную площадь.

Потрясеніе не давало мнѣ ни лечь, ни си-
дѣть. Я то и дѣло подходилъ смотрѣть на за-
пруженную улицу. Тамъ непрерывно мчались
пожарные со своими необъятными обозами, на-
груженными людьми, закрытыми брезентами...
Они ошалѣли отъ своей работы и дѣлали ее не-
брежно. Вотъ выбилась и виситъ высунутая рука,
болтается у колеса и, вздрагивая, какъ весло у
лодки, гребетъ... Колеса катятся впередъ, а рука
вздрагиваетъ, размахивая къ заду, какъ бы все
указывая обратно на Ходынку. Торчитъ застыв-
шая рука, словно прорвавшая брезентъ, и подня-
лась къ небу... Вонъ мотаются у колеса длинные
женскіе волосы, сорванные съ головы. И до утра
работали пожарные, очищая Ходынку, потрясая
грохотомъ Тверскую. Больничные дворы были
завалены грудями тѣлъ, и тамъ шла отборка жи-
выхъ отъ мертвыхъ. А за городомъ на самой
Ходынкѣ уборка шла долго-долго, -- говорили, что
пѣлыя недѣли, и работу вели только по ночамъ.
Были оцѣплены карауломъ мѣста выставокъ и
оттуда доставали людей изъ колодцевъ и отхо-
жихъ мѣстъ. Когда-то они были застланы досками
и засыпаны землей. Толпа проломилась ихъ, и
говорили, что сыпалось народу туда безъ числа!

А сколько ихъ было, -- Ты, Господи, вѣси.

Словно въ горячемъ и душномъ колодцѣ,
сидѣлъ я на постели въ своей мастерской вече-
ромъ того дня... Передъ глазами все ходуномъ

ходило, и я нигдѣ не находилъ себѣ мѣста. Лежалъ ли, сидѣлъ ли—все словно горѣло подо мной... Я метался по всей нашей мастерской, въ фотографіи.

Выходилъ въ стеклянный навильонъ, на крышѣ: оттуда видна, какъ на ладони, Страстная площадь, часть Тверской и два конца бульваровъ: отъ Монастыря и отъ памятника Пушкина.

На площади огромное движеніе народа и жуткая молчаливость, изрѣдка прерываемая грохотомъ пожарныхъ повозокъ. Какая-то зловѣщая подавленность нависла и сѣяла ужасъ и жуть...

Носились тысячи слуховъ и толковъ, рисовались чудовищные размѣры Ходынской давки. говорили о ней, какъ о страшномъ несчастіи. считая его гнѣвомъ Божиимъ за грѣхи Россіи...

Говорили, что всѣ двory больницъ, участковъ и пожарныхъ частей завалены горами человѣческихъ тѣлъ,—живыхъ и мертвыхъ, обмороченныхъ и изуродованныхъ до неопиcуемости; что тамъ не успѣваютъ врачи и фельдшера разобрать одну кучу, какъ вырастаетъ другая, третья... И пожарныя, и ломовыя подводы то идѣло отъѣзжаютъ, подъѣзжаютъ...

А за ними, вслѣдъ, туда ломятся обезумѣвшіе люди съ плачемъ и воемъ, причитаньями и ругательствами,—искать и узнавать *своихъ*!... Мѣшать работѣ врачей.

Говорили, что подъ конецъ всего вспомнили о десяткахъ тысячъ солдатъ на самой Ходынкѣ въ лагеряхъ и пустили ихъ въ работу по очисткѣ поля отъ мертвыхъ! А отъ *живыхъ* людей очистить несчастное поле не догадались во-время,—тогда бы не было и мертвецовъ!

Очистка Ходынского поля была такая спѣшная, чтобы во-время и, несмотря ни на что, приступить къ исполненію программы гуляній...

И это было сдѣлано!

Тамъ въ дали, за толпами народа, по широкому полю носились пожарные и солдаты, собирали растоптанныхъ и задушенныхъ, швыряли ихъ въ пожарныя и ломовыя дроги.

А тутъ, въ центрѣ гуляній, что противъ Петровскаго загороднаго дворца,—гремѣли оркестры, исполняя „Боже, Царя храни“, и разносились временами „ура“, встрѣчая самого царя, прибывшаго на гулянья,—какъ было заранѣе назначено,—словно ничего особеннаго не случилось!

И не звуки всенародной панихиды, не „со святыми упокой“ скорбно разносилось по полю, гдѣ множество человѣческихъ тѣлъ еще остыть не успѣли,—а музыка оперы „Жизнь за Царя“...

Здѣсь прежде всего старались *не замѣтить* случившагося и *отвлечь* отъ него вниманіе у замѣтившихъ.

И *стараніе* было замѣчено отрезвѣвшей частью толпы,—долго помнилось и не прощалось, какъ святотатство! Какъ злое надругательство надъ вѣрой и совѣстью народа...

Говорили, что теперь не сдобровать генералъ-губернатору великому князю Сергію Александровичу, что „его арестовалъ самъ царь“.

Вечеромъ того дня собралось много народа около памятника Пушкина; слагалось какое-то настроеніе, возникало ядро изъ студентовъ въ толпѣ, но ничего не случилось, видимо, были приняты „свои мѣры“ кѣмъ-то...

Впрочемъ, Москва „чистилась“ не только

внѣшне, но и внутренне,—задолго до коронаціи. Въ нашей фотографіи то и дѣло бывали случаи внезапнаго появленія заказчика-студента съ просьбою скорѣе изготовить его карточки,—много раньше очереди и срока...

Спросишь, бывало, въ чемъ дѣло? Что за спѣшка?... Не сразу понимая причину просьбы вначалѣ.

— Уѣзжать торопятъ!... Вонъ изъ Москвы.

— Какъ это, почему?

— Неблагонадеженъ оказываюсь...

— Ну, а вы скажите, что уѣхать не можете, не на что, моль!...

Смѣется... „На казенный счетъ охотно берутся отправить!... Приятнаго только мало съ ворами да проститутками путешествовать!“...

Но все же, на пьедесталѣ памятника Пушкину были мѣломъ написаны стихи, что въ Ходынкѣ виноваты—

„Сережа дурачекъ

Да Власовскій полячекъ“...

Вотъ на этомъ-то Власовскомъ и отыгрались тогда,—уволивъ въ отставку оберъ-полицмейстера Москвы, грозу всѣхъ сонныхъ дворниковъ и зѣвающихъ извозчиковъ того времени. А съ великаго князя—какъ съ гуся вода скатилась Ходынка!

Къ ночи со мною было худо, начался кошмаръ и бредъ, нервная горячка...

Я не могъ оставаться одинъ... Едва взгляну въ темный уголь, на стѣну, какъ на экранѣ кинематографа,—словно китайскія тѣни—выступаютъ ужасы видѣннаго, какая-нибудь тяжкая подробность давки: выпученные глаза беременной

женщины, языкъ, или истолченное каблуками въ котлету лицо дѣвушки съ бѣлой шеей и пышной косой: то услышу хрипы и крики предсмертные...

И я начиналъ кричать, срывался съ мѣста,—кидался куда попало, бился о стѣну и кровать...

И такъ было недѣли съ три.

За это время умерло уже много товарищей по мастерской и по улицѣ...

Спросишь голько: „отчего?“...

— Отъ Ходынки! Кашлялъ кровью все время.

— Отъ скоротечной чахотки... Страсть сколько съ нея умираетъ,—послѣ Ходынки всѣ на ладанъ дышать!...

Весь годъ коронаціи носилось дыханіе ладана надъ Москвой и окрестъ ея. Слова— „умеръ въ коронаціи“ и— „умеръ послѣ Ходынки“—были однозначущи, какъ обозначенье времени какого-либо повѣтрія и смертности сугубой въ памяти народной...

Долгое время и я „дышалъ на ладанъ“, но молодость и крѣпость организма взяли свое.



Не было и всенароднаго покаяннаго погребенія жертвъ Ходынской катастрофы.

Но самое опознаваніе растоптанныхъ на Ходынкѣ, выставка тѣлъ ихъ,—было уже образцово обставлено и длилось долго.

Ближайшее кладбище къ Ходынкѣ—Ваганьково. Тамъ, между прочими мѣстами, я помню, былъ очень образцовый порядокъ и для мертвыхъ, и для живыхъ. Къ мѣсту временнаго упокоенія погибшихъ допускали съ большимъ раз-

боромъ желающихъ поискать родныхъ и знакомыхъ среди выставленныхъ тѣлъ. Всѣ пропускались сквозь тучи полицейскихъ, рядами выстроенныхъ отъ входа на кладбище и вглубину его.

Строгости въ соблюденіи порядка движенія по кладбищу были большія, — вездѣ были корридоры среди плотной стѣны полицейщины, и сбиться, нарушить порядокъ было трудно!

Павшіе лежали въ гробахъ, прибранные, вымытые, кто въ чемъ былъ поднятъ. Это облегчало опознаваніе, если не по лицамъ, — которыхъ у многихъ не было, — то по одеждѣ и вещамъ. У кого что было найдено въ карманахъ, то и лежало на виду на груди и животѣ покойника...

Было много гробовъ съ такими вещами, что невольно вызывали улыбки и смѣхъ проходившихъ. Попадались иногда, на примѣръ, гроба, въ которыхъ на покойникахъ лежало множество кошельковъ, гребенокъ, портсигаровъ, бумажниковъ. Погибшіе карманники со своею поживой.

Добродушно шутя, вся проходящая публика жалѣла ихъ и величала „несчастненькими“ и „бѣдненькими“....

Если кого опознавали родственники и знакомые, то имъ выдавался саванъ, и они получали гробъ для погребенія даромъ тутъ же.

*
* * *

Размѣры свалки на Ходынкѣ могли быть больше, если бы не заранѣе была принята одна мѣра, — единственно благоразумная тогда.

Было отдано распоряженіе запереть, кажется, съ полудня наканунѣ гуляній на Ходынкѣ, — всѣ фабрики и заводы и крупныя мастерскія — вмѣстѣ

съ рабочими и никого не выпускать до 10 часовъ утра.

Выходить же на гулянье предписывалось имъ въ стройномъ и строгомъ, чуть ли не въ солдатскомъ, порядкѣ,—каждому заводу особо... И на одну сотню тысячъ душъ на Ходынкѣ было просторнѣй и жертвъ было меньше.

Помню циничное и холодное „правительственное сообщеніе“ о Ходынской давкѣ, гдѣ говорилось прежде всего со скорбью о томъ, что—„блестящее теченіе коронаціонныхъ празднествъ было омрачено“...



А дня за два передъ тѣмъ москвичи читали, что чрезвычайно сановная комиссія посѣтила Ходынское поле и осмотрѣла строенія народныхъ гуляній и нашла все хорошо устроеннымъ...

Ну, а разъ такъ,—то и повалили валомъ!

Послѣ того, какъ правительству стали ясны размѣры давки, было назначено пособіе по тысячѣ рублей на погибшаго кормильца семьи.

На этомъ дѣлѣ полиція погрѣлась изрядно...

Заноза недовольства все глубже и глубже вгонялась въ народное тѣло.

Когда вскорѣ, тѣмъ же лѣтомъ, вдругъ разразилась первая всеобщая вокругъ Москвы забастовка рабочихъ, то она казалась уже чѣмъ-то простымъ и понятнымъ послѣ Ходынки...

Вся Москва тогда говорила о ней... и о пропавшѣ царя! Государь вдругъ исчезъ, и ничего о немъ не было слышно, гдѣ онъ... Такъ сразу послѣ шумящей коронаціи,—вдругъ перестали писать газеты, что дѣлаетъ, и куда дѣлся царь. Оказа-

лось, послѣ, что, напуганный забастовкой, онъ скрылся въ подмосковное село Ильинское,—имѣніе великаго князя Сергія, гдѣ и переждалъ недѣли три...

*
* *

Ходынка была болѣзнью для народа, несчастіемъ,—которое учить, отъ котораго умнѣютъ, вырастаютъ внутренно.

Самодержавіе было черство и безжалостно къ народу; это показала ему Ходынка, и народъ почувствовалъ это больнѣе, чѣмъ когда описывали его скотину за подати...

Ходынкой правительство надругалось надъ душою народа,—его лучшими чувствами... И многіе, и многіе вернулись съ Ходынского поля не тѣми, какими пошли туда. И много работниковъ партій и революціи родилось на Ходынкѣ. Другимъ оттуда вернулся и я.... Получивъ свою кружку на Ходынкѣ изъ рукъ сосѣда-татарина, я не подъ образа поставилъ ее, а **придя** къ матери, оправившись немножко, такъ грохнулъ кружку объ полъ, что и эмаль отскочила,—и больше она не попадалась мнѣ на глаза!

И послѣ Ходынки въ Москвѣ имя царское не пользовалось уже былымъ обаяніемъ.

А людямъ религіознымъ и суевѣрнымъ Ходынка казалась страшнымъ прообразомъ грядущаго лихолѣтя, знаменемъ начала подобныхъ событій въ Россіи,—чѣмъ-то вродѣ *черной радуши*,—въ знакъ того, что *потомъ еще будетъ!*....

Ну, и наступили неурожайные годы, потомъ въ Полтавской и Харьковской губ. вспыхнули крестьянскіе беспорядки 1902—904 г.г., япон-

ская война и девятое января — и... такъ до ужаса нашихъ дней...

*
* * *

Осенью, въ августѣ, я былъ отпущенъ хозяиномъ въ деревню на поправку послѣ Ходынки.

Пѣшкомъ до своего села пошелъ, отдыхая въ попутныхъ деревняхъ; идти предстояло верстъ полтораста, — желѣзной дороги къ намъ не было...

Осень была сухая и ясная, — звонкая...

Кроткой печалью сіяли обнаженные поля. Рубинами и янтареми мерцали деревья, вздрагивая и осыпаясь блеклой цвѣтною листвою... Вода сухо и рѣзко блестяла на солнцѣ, — словно пустая, лишенная живительной теплоты, обнажая голые берега, — не сливаясь съ ними травой... И солнце уже не грѣло, а только освѣщало замирающую жизнь земли и воды...

Я помню одну избу съ раскрытыми окнами, въ какой-то деревнѣ за Нахабинымъ, по шоссе.

Ветхая крыша красиво проросла зелено-бурымъ мохомъ, а стекла играли переливами радуги на солнцѣ, — вродѣ нефтяного пятна на водѣ: такъ древни были они...

А въ окошкѣ сидѣла старенькая-старенькая бабушка съ васильковыми глазами, серебряными волосами и мѣднымъ, словно вычеканеннымъ лицомъ, изрытымъ морщинами.

Я подошелъ.

-- Бабушка, нѣтъ ли кваску попить?...

Она молча качаетъ головою, не глядя на меня.

Я взглянулъ дальше въ комнату... Посрединѣ потолка тянулась гибкая жердь, наклоняясь къ дальнему углу, а на ней подвязана люлька съ по-

логомъ, униженнымъ тучами мухъ... На полу ползали, перебирая цвѣтное тряпье самодѣльныхъ куколъ, двѣ дѣвочки, лѣтъ пяти и семи.

Хорошенькій бѣленькій мальчикъ лѣтъ трехъ спалъ у бабушки на колѣняхъ. Я не сталъ повторять просьбы...

— Бабушка, ты что же одна тутъ сидишь? А гдѣ же твои домашніе? Молотятъ?...

Она снова только покачала головой.

Въ комнатѣ стояла какая-то могильная жуть, сиротливость.

На стѣнѣ висѣло нѣсколько одежинъ и платьевъ, словно чужихъ и давно не тревожимыхъ рукою.

— Бабушка, ты что же совсѣмъ одна?!

Она ничѣмъ не шевельнулась, словно не слышала... Я пристѣлъ на заваленку.

Вскорѣ увидѣлъ, что идетъ дѣвочка къ этой избѣ съ блюдомъ въ рукѣ и съ кувшиномъ.

— Ты здѣшняя?—спрашиваю ее.

— Нѣтъ, мы сусѣди. Несу вотъ бабушкѣ обѣдать,—картошку и щи.

— Она родная тебѣ?

—Нѣ-ѣтъ... Она одна осталась съ ребятами...

Ну, мы и кормимъ, пока есть чѣмъ. У ней задавили на Ходынкѣ сына съ невѣсткой и внука старшаго...

— На Ходынкѣ?! Вотъ оно что!.. То-то она какая,—словно полоумная,—все молчить.

— Да... никого не узнаетъ, кромѣ ребятъ своихъ... Только на ихъ голоса и жизнь изъ себя подаетъ. Ни съ кѣмъ ни слова,—все своихъ дожидается!... Гдѣ-жъ дождаться теперъ ужъ,—всѣ овраги и лѣса кругомъ очищены отъ мертвыхъ,

а ихъ не нашли. Въ нашемъ лѣсу много подобрано было, да все чужихъ...

Деревня эта была верстахъ въ тридцати отъ Москвы.

Да, своихъ, видно, не дождалась и... тысячи рублей за кормильцевъ и на сиротъ ихъ тоже не получила.....

*
* * *

Отдыхая въ деревнѣ, я услыхалъ про писателя крестьянина С. Т. Семенова, который, молъ, и пашеть, и рассказы пишетъ, и вообще живетъ припѣваючи. Я пошелъ къ нему, чтобы провѣрить толки о немъ. Отъ него узналъ о Л. Н. Толстомъ и его религіозной проповѣди. Душа, растревоженная Ходынкой, уже распростилась съ самодержавіемъ.

Просыпалось отрицательное отношеніе и къ православію. Прочтя нѣкоторыя религіозныя сочиненія Л. Н. Толстого, изъ запрещенныхъ, я, зная только, что онъ живетъ гдѣ-то подъ Тулой,— пришелъ въ почтовое отдѣленіе своего села, взялъ линейку и поставилъ ее на картѣ отъ села до Ясенокъ, провелъ легкую черточку карандашемъ и списалъ всѣ села и города, какіе попали на черту... А на утро, тайкомъ отъ своихъ, уже шагаль въ Тульскую губернію въ Ясную Поляну! Это было осенью того же 1896 года.

....Встрѣчи съ Л. Н. Толстымъ привели меня сначала въ нелегальные кружки девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія, потомъ въ Вятку, а оттуда въ 1899 году въ Елисаветградъ на земледѣльческія артели Н. В. Левитскаго, какъ на работу, наиболѣе отвѣчавшую моимъ религіознымъ настроеніямъ.

Потомъ, не прерывая нигдѣ и никогда кооперативной пропаганды и работы,—устроивалъ и ремесленные трудовыя артели рабочихъ,—я ходилъ дважды въ Сибирь, отсидѣлъ въ тридцати маленькихъ и большихъ тюрьмахъ Россіи и Сибири, работая надъ созданиемъ Всероссійскаго Крестьянскаго Союза членомъ главнаго Комитета,—какъ братской и трудовой кооперации на всѣ случаи жизни крестьянина.

Вотъ куда привела меня Ходынка!

А многихъ другихъ—и еще дальше.

И сколько ихъ было загублено ссылкой, и имена ихъ беспаспортнаго житія—Ты, Господи, вѣси!

Василій Красновъ.



Харьковъ
Типографія А. А. Либинъ
Рыбная ул., № 17.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО КАРКОВОГО КРЕДИТНО- КООПЕРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА

КАРКОВЪ МЕЖКОМКОД 18 „ОБЩЕСТВЪ“ — ТРА 14-01

Печатаются и готовятся къ печати следующие книги:

Сельско-Хозяйственная Библиотека подъ ред. проф. А. Н. Челюпина.

Книгъ отъ одного и того же рода полторы 2 урока въ году. Аукциискаго Опытъ изучения органическаго строения сельского хозяйства въ дѣлахъ общественой и кооперативно-агрономическаго хозяйства проф. А. Н. Челюпина Сельско-Хозяйство проф. Иванова Вредная вода, огорода в борьбѣ съ ними Аерина Бѣды отъ земледѣльцъ Южной Россіи Маннштейнъ Пашинство Пестеръ Лодская, Бовыни и лечение домашнихъ животныхъ Сувжиково земледѣльство проф. Павлова Материнство и Лосицкаго Языкъ сельско-хозяйственнаго растенія Панова Удобреніе почвы Панкова. Что знаютъ объ общественнаго помощи сельскому хозяйству проф. А. Н. Челюпина Двухтомнаго маловаго рабѣра въ сельскомъ хозяйствѣ. Давидъ

Культурно-Историческая Библиотека подъ ред. проф. Д. В. Багалія

Неустройство (его возвожогія, его ствистика, его эволюція) проф. Г. И. Шмига. Искуство древней Руси Украины въ домонгольскій періодъ проф. Г. И. Шмига Суземство в Любэрвоній Украині 17-18 в. М. Е. Слабченко Мистецтво и Слободскоі Украині С. О. Таранчишко. Исторія украинскаго народа проф. А. Я. Ефименко Африканскі декоративн рабѣ Букскулда. Украинскі возрожденія у Харьковѣ в 20—40 роках 19 ст. Г. Я. Анатимско. Заселеніє південної України проф. Д. І. Багалія. Провант дѣяльність Харькѣвского университета Н. Д. Ладимельско. Украинскій филозофъ Гр. Сав. Саборцова проф. Д. І. Багалія. Народній кобур Любэрвоній Украині в воцвѣв 17 в. Ор. Н. Демченко, В. Н. Каравя О. Д. Таматиюво.

Соціально-Экономическая Библиотека подъ ред. И. А. Трахтенбергъ.

Важное дѣло в кооператива Т. Френ. Меллѣй кредитъ в его значеніи. М. Ф. Кривороско. Меллѣй кредитъ в сельскомъ хозяйствѣ П. И. Лапченко. Кооператива в дѣлѣ торговли А. С. Виздальскаго. Исторія арелативной кооператива проф. А. Н. Аммирево. Основы и формы оудовой операція въ кредитствѣ кооперативнаго К. Хромченко. До операція в теоріи кооператива.

Естественно-Историческая Библиотека подъ ред. проф. В. Н. Таліева

До что про тило наме ак ошо ободуваніе і ак ошо собі живе проф. Бѣлостою. Отрощеніе и живн растеній проф. В. Н. Таліева. Животный миръ Украины проф. Якимовско. В) Високо въ аласификаціи животныхъ. Общій обзоръ строения животныхъ. 6) Приспосабливаніе животныхъ. в) Рыбы Вѣтры Украины и въ живн К. Пардлмана. Назва оцѣны богатства Украины Фебуровско. Назва ученыхъ оцѣны воздуха атмосферы Палтаво. Популарный курсъ метеорологіи Пиддѣно. Чирокъ Даренъ проф. В. Н. Таліева Собраниѣ „Крѣпъ живой природы“. Возникновеніе жизни проф. В. Н. Таліева Механизмы нервной и душевной жизни проф. Губальшино Живн оцѣны жизни и душевной жизни (типичность) К. В. Таліева

Школьная и Вѣтховская Библиотека подъ ред. дир. кооп. шк. Д. Г. Павловича.

Руководство по объявленію курса Дригачко Организация художественно-историческаго музея. О народныхъ университетѣхъ Дригачко в Анатимско. Обь организація библиотекъ городовскіхъ в сельствѣ Дригачко и Аполтаново Учебникъ законодѣнія для кооперативнаго шк. в курсѣ Гинимери. Грамматика русскаго языка для шк. въспѣвъ на чальныхъ учебникъ по немъ правед. Д. Г. Павловича. Избранныя сочиненія Туркенико, Керемско, Чернишевско, Горьково и Гомоля Хростоматія по Украинскій літературѣ А. Н. Павлова. Руководство по теоріи кооператива проф. Себолово.

Украинская Дѣтская Библиотека під редакц. Н. А. Павлова при участіи спец. ком. подг.

Назва. Украинскій народні: книги в детскомъ читаніи народні словесности, вѣдѣннхъ і сказанъ, книги бр. Грѣльмъ, Андерсенъ, Гоффа Лорра, Жюль Вернъ, Веллеръ и немнхъ. Пѣсень в народнѣхъ, мѣсто в балли Б. Гринчакъ, Гайковъ, Гребенко, Франко, Ковальковъ и немнхъ Врѣт-Герма, М. Тенко, Дѣво, Веллер-Стю Ковалъ, Серго Ковалъ, Іванъ Дѣвонко, Прудъ, Селестовъ, Гринчакъ, Прудченко, М-Сидирко, Корольковъ, У Таліева. Ушова.

